

аркадий
сахнин

ОДИНОЧЕСТВО

аркадий сахнин

ОДИНОЧЕСТВО



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
Москва 1972

8РС
С 22

Сахнин Аркадий Яковлевич

С 22 Одиночество. М., «Знание», 1972, 144 стр.

Международные авантюристы, предатели Родины, валютчики, обманщики и обманутые... Трудна и поучительна судьба каждого из них.

Одна история, вторая, третья... Ни одна не выдумана.

В документально-художественных очерках автор делится впечатлениями от поездок в США, ФРГ, Францию. И читатель видит, насколько призрачна сила, на которую пытаются опереться враги социализма, организаторы идеологических диверсий, рыцари голого чистогана.

Книгу Аркадия Сахнина с интересом прочтут самые широкие круги читателей.

7-3-2

Т. п. 1971 г. № 9.

8 РС

ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед Вами, читатель, книга, которую Аркадий Сахнин писал не год, не два, не пять лет...

Под каждым из составляющих ее очерков стоит дата — 1970 год, 1967-й, даже 1963-й... Все они в свое время печатались в центральных газетах и журналах страны.

Газетные очерки... Некоторые многолетней давности... Документальные... Зачем надо было собирать их в отдельную книгу и выпускать сегодня? Не устарели ли они?

Нет, не устарели! И прежде всего потому, что это художественные произведения. Они и сегодня звучат так же актуально, так же гневно, я бы сказал, так же беспощадно, как и в те дни, когда были написаны.

Накануне юбилея Великой Октябрьской социалистической революции был написан очерк «Боятся» о рассчитанной на многие годы идеологической диверсии, которая готовилась в США к 50-летию Советской власти.

В докладе «50 лет великих побед социализма» Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «...И они (империалисты. — **Ред.**) попытались, конечно, на свой лад внести, с позволения сказать, лепту в празднование пятидесятилетия Октября. Враги коммунизма трудились, что называется, в поте лица своего. Вовсю работала огромная машина империалистической пропаганды... Однако мы живем в такое время, когда никто не в состоянии принизить величие свершений Страны Советов, извратить подлинный смысл наших дел и завоеваний социализма. Усилия наших недругов, их клевета и ложь обратятся против них самих. А родина Октября, страна победившего социализма была, есть и будет надеждой и оплотом всех угнетенных, опорой всех, кто борется за мир, свободу и счастье народов!».

Факты, описанные в очерке «Боятся», увы, имеют свое продолжение. В противоборстве с социализмом империалистическая буржуазия применяла и применяет любые доступные ей способы и средства. Все больше усилий затрачивается на то, чтобы подорвать мир социализма

изнутри. Вот «практический» совет западногерманского «специалиста по психологическим операциям» Аларда фон Шакка: «Используя все средства современной пропаганды, умелые приемы психологической борьбы, необходимо насаждать нашу мораль и нашу идеологию в общественном сознании стран коммунистического лагеря. Используя национальные различия, религиозные предрассудки, человеческие слабости: женское тщеславие, зависть, стремление к удовольствиям, — необходимо развивать индифферентность к целям коммунистического руководства. Экономические, моральные и прочие неполадки нужно беспощадно выставлять напоказ, с тем, чтобы побудить население к пассивному сопротивлению и саботажу».

Для проведения идеологических диверсий в социалистических странах правящие круги империалистических государств создали мощный пропагандистский аппарат. По их указке антикоммунистической пропагандой занимаются многие телеграфные агентства, редакции газет и журналов, книжные издательства, радио, телевидение, киностудии, церковь. В этих же целях используются туризм, культурные и экономические связи со странами социализма, частная переписка и т. д.

Многое меняется в нашем стремительно движущемся мире, многое остается неизменным. Порой к счастью, порой — к сожалению.

В том-то и проявился талант автора — писателя и публициста, что он не только умеет находить в огромной массе событий характерные, проблемные, но — и это главное, — описывая события, так обобщать факты, так судить о них, делать из них столь глубокие выводы, что и годы спустя они звучат злободневно.

В Западной Германии и Соединенных Штатах, в Японии и Англии я сегодня встречал «героев» сахнинских очерков и, беседуя с ними, слышал те же речи, какие уже пересказал мне автор.

Выше я назвал очерки А. Я. Сахнина гневными, даже беспощадными. Да, это так, потому что посвящены они в большинстве людям, вызывающим гнев и не заслуживающим пощады. Когда же мы встречаем настоящих людей труда, гнев вызывают условия их жизни, те кто уродует эту жизнь.

Тысячи километров отделяют маленькую измученную японку от несчастной, морально искалеченной немки. Разные страны, разные уклады жизни. А судьба одна. И те, кто обрекли их на эту трагическую судьбу, тоже одинаковы. Независимо от того, живут ли в роскошных, окруженных карликовыми садами виллах в фешенебельном пригороде Токио — Камакура, или в упрятанных за чугунными решетками особняках берлинского Шарлоттенбурга. Уловить связь, сплести в одной книге две разде-

ленные годами и тысячами километров судьбы — трудная задача. Сахнин сумел ее решить.

В 1967 году написан очерк об экономических диверсантах. Разве таких нет больше? К сожалению, есть. Их наказывают.

Но есть еще и те, кто наказал себя сам.

В Австралии и Канаде, в ФРГ и Мексике, в разных странах довелось мне встречаться с людьми, которые в силу разных причин и в разные времена покинули нашу Родину. Как различны и как одинаково горьки судьбы этих людей! Как предупреждающе трагичны!

И я не могу не восхищаться, с какой удивительной психологической глубиной поведал о них Сахнин в очерке «Мне б только речку переплыть...», как сумел уловить самое главное, и о главном рассудить.

Аркадий Сахнин немало поездил по свету. Он изучал не великолепные соборы и картинные галереи (хотя, конечно, и там побывал), он изучал жизнь людей. Разных людей. Чужих людей и такую жизнь, какая у нас невозможна.

И рассказал об этом.

Он сделал это ярко, талантливо, поэтому очерки заставляют задуматься сегодня и заставят задумываться завтра так же, как тогда, когда были написаны.

АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ

БОЯТСЯ



Несколько дней назад из Соединенных Штатов Америки вернулась моя жена. В эту туристскую поездку мы собирались вместе, но вот она уже съездила, а я никак не выберусь из-за одного обстоятельства, о котором сейчас расскажу.

Мне хотелось хорошо подготовиться, заранее определить, что именно надо посмотреть в Америке, где побывать, с какими интересными людьми встретиться. Я подумал, может, лучше всего посоветоваться с самими американцами. И пошел в американское посольство к советнику по культуре господину Эрмитейджу.

Мы беседовали часа полтора. Я слушал его полезные советы. Прежде всего он перечислил вопросы, которые мне обязательно зададут там, в США. Откровенность советника можно бы и оценить. Но Америки он не открывал. Это были не новые вопросы. О них часто говорит «Голос Америки» и другие «голоса», которые хотят, чтобы нам было плохо. Они берут наши недостатки, которые, к сожалению, есть, а также и те, которых нет, и начинают их разбирать. Сначала с фасада, потом сзади, с разных сторон, потом перевернут вверх ногами и снова разбирают, затем расчленяют по частям, пока критическая заметка из какой-либо советской

газеты не вырастет в их глазах в катастрофу для нашего государства. Это они и хотят внушить слушателям и читателям как истину.

Я и сам сообразил, что там, в США, найдутся люди, которые зададут подобные вопросы, но все-таки поблагодарил за ценный совет и спросил, может быть, в Америке заинтересуются еще чем-нибудь, возможно, каким-либо нашим положительным опытом, но господин Эрмитейдж не сразу нашелся, а потом разговор перешел на другое. Но я снова повторил, зачем пришел, спросил, чем живут Соединенные Штаты сегодня.

Сославшись на то, что сам он не был у себя на родине пять лет и ему трудно ответить, господин Эрмитейдж предложил мне книгу Стейнбека «Путешествие с Чарли», в которой, как он выразился, хорошо показана Америка сегодняшнего дня.

Было неловко отказаться от нее, хотя года три назад Стейнбек сам прислал мне эту книгу, вышедшую шесть лет назад, с письмом, адресованным лично мне. Его письмо и подарок меня удивили, поскольку никакого понятия обо мне Стейнбек не имеет. Было неловко говорить американскому советнику по культуре, что письмо это, отпечатанное типографским способом, получили, как я узнал позже, несколько сот московских писателей, отобранных наугад по адресному справочнику. И вообще, не хотелось говорить о Стейнбеке, ставшем соучастником агрессии США во Вьетнаме.

Читатели, видимо, помнят, что он обратился к редакции «Комсомольской правды», пытаясь оправдать свое поведение. В «открытом письме» то и дело повторял, что «Комсомольская правда» ни за что не опубликует его. Под конец заявил, ставлю десять против одного, что газета не напечатает письма. «Комсомолка» напечатала. И дала свой комментарий. Не ответить на него было нельзя. Но Стейнбек промолчал. Сказать ему было, видно, нечего.

Наверное, не очень тактично было со стороны американского советника по культуре предлагать мне книгу Стейнбека, но я смолчал, надеясь все-таки получить ответ на интересующие меня вопросы. И действительно, одно его сообщение заинтересовало меня чрезвычайно. Он сказал, что США готовятся как следует отметить наш большой праздник — пятидесятилетие Октябрьской революции. Специально для этой цели из США прибыла большая группа журналистов. Сказал и о маршрутах, по которым они разъехались. Один из них даже решил на месяц поселиться в Братске, чтобы потом описать этот город, которого раньше на карте не было. Вскользь господин советник заметил, что главная работа по подготовке к празднику ведется непосредственно в США.

Я всерьез отнесся к этому его сообщению. Я подумал, что, когда дело идет о столь больших событиях, даже противники наши не могут не быть объективными, не могут не отдать должное.

По опыту заграничных поездок я знал: ни одной минуты нельзя тратить в чужой стране на отыскание сведений, которые можно получить в Москве. Выезжать надо, хотя бы элементарно изучив страну и тему, которую собираешься разрабатывать. И я приступил к делу. Целыми днями просиживал в Ленинской библиотеке, где есть все американские газеты и журналы, встречался с американскими журналистами. Разговаривал с нашими людьми, побывавшими в США. Изучал только один вопрос: как в Америке готовятся к нашему празднику.

Уже подошел срок оформлять документы на выезд, а я, обнаружив уйму материалов по интересующей меня теме, не мог оторваться от них. Жена, работающая во Всероссийском театральном обществе, не пожелала отстать от группы актеров, отправлявшихся в туристскую поездку в связи с конгрессом Международного института театра, проходившим в Нью-Йорке, махнула на меня рукой и, в который раз сказав: «С тобой лучше не связываться», уехала. Я утешился тем, что с ее отъездом получил возможность работать более производительно.

Итак, я перерыл кучу газет, журналов, справочников, отчетов, наставлений, инструкций и накопил богатую информацию. Оказывается, господин Эрмитейдж не шутил. Судя по опубликованным материалам, еще в прошлом году в США разработан грандиозный по масштабам государственный план подготовки к пятидесятой годовщине Октябрьской революции.

Заботясь о том, чтобы событие это не осталось не отмеченным в странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, в плане предусмотрели мероприятия, которые охватят все континенты.

Учитывая, что юбилей это наш, особенно большое место в плане отводится выпуску литературы и радиопередачам для советского населения.

В программе американской подготовки к юбилею СССР исходные положения в общем виде сводятся к трем пунктам:

1. Дискредитация советской внешней политики. 2. Подрыв единства социалистических стран, создание политической изоляции СССР. 3. Дискредитация политической и экономической системы СССР.

Вот и все. А дальше идут бесчисленные разветвления этого плана и практические разработки — когда, что и как делать.

Пока специальный юбилейный комитет не был создан, реализацию плана поручили отдельным организациям. Среди них Государственный департамент, Центральное разведывательное управление, Информационное агентство США (ЮСИА), Институт по коммунистическим проблемам, Антикоммунистический интернационал, Институт американской стратегии, русские институты в Колумбийском, Гарвардском и других университетах и некоторые другие, их всего сто сорок шесть. Для того чтобы от-

метить юбилей громче, в помощь привлечены еще восемьдесят таких же учреждений из других стран, в том числе тридцать пять из ФРГ.

Хотя все эти двести двадцать шесть организаций совершенно самостоятельные, имеют свои собственные планы, нельзя сказать, будто действуют они вразнобой или хаотично. Нет, их деятельность спланирована созданной в прошлом году Высшей межведомственной группой при госдепартаменте, куда, помимо Раска и его заместителей, вошли руководители ЦРУ, министерства обороны и ЮСИА. А все движение возглавляет Координационный комитет по общему руководству психологической войной, подчиненный непосредственно президенту США.

Это новый шаг в развитии Соединенных Штатов. От разрозненных антисоветских групп дело перешло в руки государства. Только финансирование осталось в основном в руках отдельных граждан, таких, как Рокфеллер, Форд, Карнеги. Они выделили специальные «благотворительные фонды», чтобы не оставлять в затруднительном материальном положении тех, кто борется против нас. По американским источникам я насчитал тридцать «фондов», у которых по сто миллионов долларов. А всего подобных фондов около девятисот, но у тех денег по десять миллионов и того меньше. В общем, вместе с государственными ассигнованиями получается приличная сумма. Поэтому появилась возможность создать большую сеть научно-исследовательских институтов и научных центров для разработки более надежных методов идеологической диверсии против нас. К работе привлечены профессора и доктора гуманитарных наук, несколько тысяч политиков, психологов, экономистов, социологов, специалистов военного дела, науки и техники. Появились новые «науки» — «советология» и «кремленология».

Для ясности приведу пример. Ну, возьмем Колумбийский университет в Нью-Йорке. При нем действуют семь антикоммунистических центров и одни курсы. Курсы по повышению квалификации «советологов» и «кремленологов», где обучаются, кроме американцев, эксперты по СССР из ФРГ, Англии, Франции, Израиля и других стран. За четыре года (1960—1964) питомцы университета защитили около четырехсот докторских диссертаций по антикоммунистическим проблемам. «Советологи» и «кремленологи» исследуют все отрасли нашей жизни. Будто под микроскопом, рассматривают они каждую клеточку советского организма, выискивая, где бы могла привиться инфекция. Со скрупулезностью архивариусов следят за личной жизнью наших людей и ведут на них досье. Их картотека на руководящих советских работников, ученых, деятелей культуры, писателей и журналистов насчитывает семьдесят тысяч карточек. Составлять карточки им не стыдно, они пишут об этом открыто. Они ищут у нас подонков, неудачников, параноиков. Отбросы общества — это фундамент, на котором они строят свои «научные» выводы о «кризисе» Советской власти.

Уже пятьдесят лет мы слышим про «кризис», но с каждым годом им все труднее доказывать свою мысль. Поэтому и была создана сеть «научных» антисоветских центров.

Всякая наука имеет свою специфическую терминологию. У них она тоже есть: блеф, барраж, слухи, дискредитация, глиттеринг, трасфер и еще десятки других. Эти слова я выписал из их наставлений пропагандистам. Один пишет, что блефом надо пользоваться не часто, чтобы не разоблачать себя. Другой объясняет, как пользоваться слухами. Он утверждает: всякий слух, чтобы быть правдоподобным, должен содержать внешне достоверные факты, которые невозможно проверить. Слухи воздействуют на людей сильнее, чем подлинная информация, если сослаться на «достоверный источник».

В учебниках и наставлениях подробно рассказывается, когда применять барраж, то есть комплекс мероприятий, призванных переключить внимание с одного события на другое. Они разъясняют, когда более целесообразна разновидность барража — «копченая селедка». Они создали наставление по методам дискредитации людей и событий. Они предостерегают от практики голой лжи. Ложь должна быть обязательно приправлена правдой, музыкой, юмором. Они учат: степень извращения и фальсификации фактов зависит от сложности обстановки. Чем сложнее обстановка в мире, тем откровеннее может быть ложь. Кроме того, ложь должна иметь приманку. На основе этого к пятидесятилетию Октября США выпустили и выпускают массовыми тиражами на десятках языков антисоветские книги и журналы под такими названиями: «Проблемы коммунизма», «Международное коммунистическое движение», «Коммунистическая партия Советского Союза», «Советская внешняя политика», «Ленинизм».

Специальные и неспециальные издательства, телевизионные компании и радиоцентры обрушивают на население всех стран потоки умело сфабрикованной лжи. Только «Голос Америки», имеет для этой цели около ста радиостанций.

Вся работа по подготовке к нашему юбилею ведется в США на основании теоретических разработок антисоветских центров. Они разрабатывают и практический вопрос: как избавиться от Советской власти. Вот один из практических советов западногерманского «кремленолога» Аларда фон Шакка. Он рекомендует: «Используя все средства современной пропаганды, умелые приемы психологической войны, необходимо насаждать нашу мораль и идеологию в общественном сознании населения коммунистического лагеря. Используя национальные различия, религиозные предрассудки, человеческие слабости, необходимо развивать индифферентность к целям коммунистического государственного руководства. Экономические, моральные и прочие неполадки нужно выставлять напоказ. Если же государство предпримет какие-либо шаги против отщепен-

цев, необходимо шире афишировать эти меры как несправедливые, чтобы вызвать, с одной стороны, сочувствие, а с другой — недовольство коммунистической системой».

Эта рекомендация принята. Стоит им отыскать отщепенца, как «все средства пропаганды» приводятся в движение, и долгие месяцы трубят о нем, стараясь превратить в национального героя.

Ну вот, например, берут параноика вроде Тарсиса и под немыслимую шумиху газет и радио возят по городам, как героя, и он ругает советский строй. Когда он иссякает, за него пишут статьи и речи и снова возят. Потом выбрасывают на помойку. Тарсис уже на помойке. В разгар бума вокруг него он заявил, и газеты напечатали его заявление, что местом постоянного жительства избрал Капри, а именно дом, где жил Горький. Ему сказали, что это можно. Ему сказали, пожалуйста, живите в доме Горького. Когда из него выжали все, сказали, может быть, ему лучше вообще не задерживаться в Италии.

Выжатого не оставили ни в Англии, ни в США. Выжатый нашел пристанище в Греции. В сегодняшней фашистской Греции. Там пока берут выжатых.

Теперь Тарсис им не нужен. Теперь они поднимают шум вокруг больной женщины с сексуально озабоченным лицом. Теперь она, Аллилуева, выступает и пишет. Вот эти строчки я взял из американского журнала «Атлантик мансли»: «Незабвенная моя Россия... Волки воют на твоих заснеженных равнинах». И дальше: «Он стоял в дверях дворницкой с этими ведрами в руках и извинялся перед своим бывшим дворником, а ныне полноправным гражданином, уже набравшимся хамства от сознания своей силы».

Вдумайтесь: мог ли человек, родившийся на советской земле, придумать такие слова? И «воют волки» и «равноправие дворников» — это крик злобы, душившей белогвардейскую и прочую «белую кость», выброшенную революцией и окопавшуюся в эмиграции. Подобные переживания людей обреченного мира она приводит как близкие ее сердцу. Но пишет она и сама. Успела пока рассказать о своем первом муже, о своем втором муже, о своем третьем муже. Она продолжает писать. Должно быть, еще что-нибудь расскажет. Вперемежку с клеветой за доллары о своих детях пишет. Кликушествует, а не пишет. Недосмотр здесь ее американских начальников.

У них ведь разработана стройная система пропаганды. Она делится на два вида: белую и черную. Это не моя, их терминология. Белая, значит, открытая. Пусть подлая, лживая, но открытая. С помощью печати, радио, телевидения, кино. Черная — это подлоги. О подлоге, как методе пропаганды, я тоже вычитал из их учебников. Они широко пользуются этим методом. Ну, например, на подложных бланках советского

посольства в Индии, за подложной подписью советского посла советским специалистам в этой стране рассылается указание и «разъяснительное письмо», которые сводятся к тому, чтобы наши инженеры затеяли в среде индийской интеллигенции дискуссию, выгодную авторам фальшивки из США, в ходе которой эти авторы могли бы поднять антисоветскую кампанию.

Бывают подлоги еще бесстыднее. Перед самым визитом главы Советского правительства в ОАР и во время пребывания его там ЮСИА распространяло оголтело антисоветскую брошюру «Послание Западу из СССР» среди египетских и иностранных журналистов, среди общественных и государственных деятелей республики, ЮСИА официально заявило, будто написана она советским человеком и нелегально переправлена на Запад. Расчет простой: опровергать никто не станет, а переговоры будут затруднены.

Фальшивку разоблачить легко, достаточно лишь проанализировать ее язык, как это сделал английский журналист Виктор Зорза в отношении другой антисоветской фальшивки. Он привел из нее уйму выражений, которых советский человек не может сказать. Таких, например, как «лидер коммунистической партии РСФСР» или «советский русский», что прозвучало бы для советских людей, отмечает Зорза, как «английский британец» или «американский американец». Так же легко разоблачить авторство «Послания Западу из СССР».

Каждый божий день в массовом масштабе в десятках и десятках стран черная пропаганда США выпускает антисоветские фальшивки. И нет у нас ни возможности, ни времени все их опровергать.

ЮСИА — одна из ста сорока шести организаций Америки, бросивших свои главные силы на подготовку идеологической диверсии против нашего юбилея. Сил у него много: двенадцать тысяч человек. Оно имеет двести двадцать отделений в различных странах. Как оно действует, видно на примере Вьетнама. Всю ответственность за оправдание перед миром американской агрессии в этой стране президент Джонсон возложил на ЮСИА. На основании этого в Южном Вьетнаме был создан особый центр. Кроме миллионов книг и брошюр, изданных агентством в Америке, этот центр выпустил в Сайгоне более четырех миллионов печатных материалов, оправдывающих американскую агрессию. За это ЮСИА было удостоено высшей «Награды особой чести».

Так вот, сейчас ЮСИА переключилось на наш праздник. В числе его мероприятий, которые уже проводятся, — конференции, симпозиумы, сессии, коллоквиумы и семинары в антисоветских центрах при крупнейших университетах Америки. В частности, речь идет о Колумбийском, Стэнфордском, Гарвардском, Принстонском и других университетах. О характере конференций можно судить по опубликованному отчету о проведенной в апреле Американской национальной конференции — «СССР —

50 лет». Она проходила в Филадельфии в Пенсильванском университете. С докладами выступили «кремленологи»: заведующий отделом стратегических исследований госдепартамента Джеймс Леонард, член сенатской комиссии по вооруженным силам Питер Доминик и другие подобные им.

В докладах шла речь о том, что Советский Союз мешает им жить, и что предпринять, чтобы его не было.

Я подумал, что хорошо бы самому посмотреть на них, когда они делают свои доклады. И в тот момент, когда будут разъяснять, как «разрушить советскую систему», перебить докладчика и с места спросить: «А за что, господин профессор? За что вы хотите нас уничтожить?»

Я решил побывать на одной из конференций и задать эти вопросы. Уже месяца три, готовясь к отъезду, я встречаюсь с различными американскими деятелями, посещаю приемы по приглашениям, которые получает Союз писателей. На квартире у заместителя редактора журнала «Ньюсуик» Роберта Коренголда я снова встретился с господином Эрмитейджем и посвятил его в свои планы. Вернее, спросил, смогу ли присутствовать на какой-либо конференции, посвященной нашему юбилею. Мне это важно знать сейчас, чтобы приурочить к ней свою поездку.

Господин советник обещал очень быстро дать ответ. Мы условились встретиться через неделю в клубе писателей. В точно назначенное время в клуб пришел его заместитель Вольф Ричмонд. Он принес извинения господина советника, который не мог прийти по уважительной причине. Но мне ведь безразлично, сам ли Эрмитейдж даст ответ или его заместитель. Оказалось, Ричмонд не уполномочен дать ответ. Он вообще ничего не знает о моей просьбе. Тогда я решил сам звонить в американские университеты.

С Колумбийским мне не повезло. Заместитель директора Русского института мистер Хейуорд сказал, что конференция у них прошла в мае. А в Институте по проблемам коммунизма, при этом же университете, сообщили, что ректор Збигнев Бжезинский находится в Париже, а без него ни один сотрудник ни на один вопрос ответить не может. Более подробный разговор состоялся с Гуверским институтом войны, революции и мира. Так называется этот антисоветский центр Стэнфордского университета. Заместитель ректора господин Балмонт сообщил, что конференция «Пятьдесят лет советской революции и ее результаты» приурочена как раз к нашему юбилею и состоится в октябре. Она продлится полную рабочую неделю. Сейчас институт ищет самый большой зал, хочется, чтобы конференция прошла наиболее эффектно, поскольку она является не внутренним делом, а всеобщим и поскольку приглашено много гостей из различных стран.

— А из Советского Союза? — поинтересовался я.

Балмонт замялся. Насчет гостей из СССР ему ничего не известно.

Но позвольте, это ведь конференция, посвященная нашему юбилею.

И коль скоро приглашаются иностранные гости, казалось бы, особо почетное место среди них должны занять юбиляры.

Господин Балмонт молчал.

Если конференция продлится целую неделю, значит готовится много докладов. О чем они и кто докладчики?

Господин Балмонт выразил сожаление, что и на этот вопрос с полным знанием дела пока ответить не может. Должно быть, и названия докладов такие, что о них ему неудобно говорить.

Примерно в таком же духе были разговоры с представителями Гарвардского и Мичиганского университетов.

Собственно, о содержании докладов можно судить по уже проведенным сессиям и семинарам. Грубо антисоветские доклады. Тщательно организованный и широко разветвленный исследовательско-пропагандистский аппарат, действующий в едином комплексе с разведкой, внешнеполитическими органами, экономическими учреждениями и другими звеньями государственной машины, финансируемый крупным капиталом США, имеет одну цель — клевету на советский строй. Массированное наступление огромными силами, развиваемое на плацдарме многих стран мира, рассчитанное на заражение антисоветской пропагандой живого организма народов, включающее «всеобщие международные» митинги в Вашингтоне восьмого ноября, — это крупномасштабная идеологическая диверсия против Советского Союза. И как всякая диверсия, она должна получить должную оценку и отпор.

Антисоветскую пропаганду США сеют по свету пятьдесят лет, однако это не помешало нам подняться к вершинам мирового прогресса. И сколь тонкой ложью ни пронизана их пропаганда, она не остановит движения вперед. Но к нашему пятидесятилетию эта пропаганда приняла столь подлый характер и такие оголтелые формы, что пора громко сказать об этом. Пусть слово советских людей, категорическое и весомое, услышит мир. Пусть Америка даст ответ. И пусть в своем ответе не пользуется старым приемом: «США — свободная страна, и правительство не может запретить своим гражданам делать то, что им хочется». Речь идет теперь не о «гражданах». Антисоветское движение организуется и направляется властями США.

И еще один вопрос возникает, когда мысленно охватываешь весь комплекс идеологической диверсии США. Американцы — люди дела. И прежде всего люди бизнеса. Они умеют делать деньги. Они умеют считать деньги. Если дело не сулит барышей, они не вложат в него и доллара. Антисоветская идеологическая агрессия стоит им миллиарды.

Почему же они идут на это?

Они боятся нас. Не только нашей атомной бомбы: они знают, что первыми мы не нажмем кнопки. Они боятся самого существования СССР. Они боялись призрака, когда он лишь бродил по Европе. Теперь это уже

не призрак, и он не бродит. Коммунизм вошел в сознание людей мира как неистребимая притягательная сила. На той же антисоветской конференции в Пенсильванском университете, о которой шла речь выше, Филипп Мосли сказал: «В Вашингтоне придерживаются мнения, что подготовка агрессии против Запада не является национальной целью Советского Союза. Однако сближение с ним невозможно, в частности потому, что идет борьба за рынки, и главным образом за рынки идей».

Впрочем, это не частность. Да, советский рынок распространился на весь мир. Мы торгуем широко и честно. Американские автомобили лучше наших, но многие страны покупают советские машины, потому что не хотят принимать унизительных условий США. И холодильников, телевизоров у них больше, чем у нас, и упакованы они часто красивее, чем у нас, но народы не хотят закабалять себя за красиво упакованные холодильники.

Что касается «рынка идей», то дело прежде всего в том, что рынка такого нет. Идеи не продаются. Идеи надо иметь собственные. А у США их нет. Вернее, есть, но они, если присмотреться, сводятся к одной — идее голого чистогана. Такой идее не потягаться с идеями коммунизма, которые все больше охватывают народы. И оборачивается это для империализма не столь безболезненно, как может показаться непосвященным. Грандиозные моральные и материальные потери империалисты ощущают весьма реально.

Один из руководителей английской разведки «Сикрет интеллидженс сервис», говоря о колониальных странах, вынужден был признать: «В настоящее время английский посол или резидент не может вызвать танки для окружения королевского или президентского дворца, а крейсер не может появиться на виду у города и сделать несколько выстрелов, когда правитель выходит из подчинения. Мы больше не являемся хозяевами положения».

Это признание в равной мере мог бы сделать и директор ЦРУ. И вместе и каждый в отдельности понимают: все из-за того, что существуют СССР и социалистические страны. К ним тянутся народы всего мира. А объединившись, они представят огромную силу. Но это уже материализованная идея. Коммунистическая идея братства народов мира.

Это только одна идея из могучей теории и практики коммунизма. Противопоставить ей нечего. Поэтому они не жалеют миллиардов. Только бы опорочить идею. Поэтому прилагают столько усилий, чтобы нанести нам удар в дни торжества народов мира по поводу нашего пятидесятилетия.

У нас нет проторенных путей, ведущих к коммунизму. И овраги обойти надо, и крюк лишний сделать. Не все у нас гладко. Мы знаем это. Нам больно это. А только пусть не надеются погреть на этом руки. Придет время, и холодильники красиво упакуем. Они это знают. Знают, что

притягательная сила наша не в упаковке. В том, что определяет могущество государства, мы сильнее. Потому и страшно им. Потому и пустили в ход все. Все резервы: ложь, провокации, шантаж вперемешку с богом и фарисейством.

Этой смесью они хотят залить мировой эфир, миллионы страниц газет, журналов, книг. Хотят опоганить самое святое, что у нас есть. Хотят надругаться над могилами павших в революционных битвах и на бесчисленных полях сражений Великой Отечественной войны.

Весь наш труд, все, что полито нашим потом и освящено нашей кровью, что возвысило и подняло нашу Родину, что сделало ее неприступной и страшной для них, они хотят опаскудить.

Идеологическая диверсия США не уменьшит наших сил, не омрачит нашего великого праздника. Но их действия — подлость. Подлость профессиональных антисоветчиков и их хозяев.

1967 г.



ДЕНЬГИ

В Бейруте я видел, как продают деньги. Возле банков, универмагов и просто на улицах спекулянты валютой держат в руках тугие веера из ассигнаций. Доллары, фунты, марки, кроны... Они покупают и продают валюту любой капиталистической страны. Они стоят или ходят взад и вперед, заглядывая в лица прохожим, без конца повторяя:

— Чейндж, чейндж... Тэйк-гив, тэйк-гив... Меняю, меняю... Даю — беру, даю — беру...

У одного из валютчиков среди долларов и франков я увидел несколько новеньких советских десяток.

Поскольку дальше речь пойдет о том, как их пытаются вывозить за границу, о неимоверных трудностях и огромном риске, на какой идут контрабандисты, хочется внести ясность: кому и для чего за пределами нашей страны нужны советские бумажные деньги. Заодно прояснить и еще один вопрос, усиленно запутываемый западной пропагандой.

Газета «Известия» регулярно печатает бюллетень курсов иностранных валют. По установленному курсу, доллар равен 90 копейкам. Но позвольте, говорят дикторы западных радиостанций, туфли, которые стоят в СССР двадцать пять рублей, на Западе можно купить за пять дол-

ларов. Значит, подлинный курс — пять рублей за доллар, а не девяносто копеек. Следовательно, жизненный уровень американца в пять раз выше уровня жизни советского человека.

Подобного рода пересчеты на туфли или кофты можно услышать порой и у нас. В действительности приведенный вывод можно признать правильным только при одном условии — если допустить, что человеку, кроме туфель и кофт, ничего в жизни не надо. А ведь он так устроен, что ему каждый день надо есть, платить за транспорт, за квартиру, он учится, ходит в кино и театр, к сожалению, должен лечиться, и вообще у него десятки потребностей.

Курс валюты определяется рядом данных, в том числе и суммой статей бюджетного набора стоимости жизни. Суммой статей, а не одной из них. Из этих позиций и надо исходить.

Даже недруги наши признают, что стоимость продуктов питания у нас равна или ниже, чем в капиталистических странах. Ну, а все остальное?

Мой фронтовой товарищ, бывший командир батареи Герой Советского Союза Володя Алхимов, ныне член коллегии Министерства внешней торговли Владимир Сергеевич, рассказал мне о том, как он жил в Вашингтоне.

Его семья занимала двухкомнатную квартиру. К одной из комнат, куда попадаешь прямо из входной двери, прилегала маленькая кухонька. Фактически комната и кухня вместе. Только за квартиру он платил ежемесячно сто девяносто долларов. Сейчас он в Москве, здесь у него тоже двухкомнатная квартира, но большей площади. Кроме того, холл и отдельная кухня, вдвое превышающая размер вашингтонской. За квартиру он платит одиннадцать рублей, то есть в семнадцать раз меньше, чем в Америке. Если еще учесть разницу в площади, получится — в двадцать раз.

По логике людей, пересчитывающих все на туфли — кофты из приведенного факта можно сделать вывод, будто стоимость рубля — двадцать долларов. Однако вам не придет в голову такое утверждение, ибо мы знаем, что нельзя из бюджетного набора стоимости жизни выхватывать одну статью, на основании которой и судить об уровне жизни и курсе рубля.

Когда в семье Алхимовых родилась дочь, в роддом пришлось заплатить 325 долларов. Вторая дочь родилась в Москве, и, естественно, расходов на родильный дом не было.

Билет в метро в США стоит пятнадцать центов, то есть втрое дороже, чем у нас. Такая же разница в стоимости билетов на автобус и троллейбус. Билет в кино и театр в четыре-шесть раз дороже, чем у нас.

В одном из крупнейших портов мира — Сингапуре я познакомился

с морским торговым агентом. Его звали Гаута. Накопив приличную сумму, он уже собирался открыть собственное дело, но серьезно заболел.

За четыре месяца болезни Гаута, как он выразился, стал нищим. Особенно его возмущала медсестра. Какой-то мазью она смазывала ему рану. Уже толстый слой, а она все мажет. Ей ничего, а мне, говорил он, за каждый грамм платить. Или бинт: крутит и крутит, а ведь платить, за каждый сантиметр.

Конечно, советскому человеку трудно представить больного, который бы подсчитывал количество витков бинта. Но и Гаута никак не мог взять в толк, что творится у нас.

— Как же так, — горячился он, — вы утверждаете, будто за машину «Скорой помощи» вы не платите, почему же тогда за такси надо платить? Вы говорите, будто за питание в больнице у вас денег не берут, тогда и в ресторане не должны брать. Что-то у вас концы с концами не сходятся. Ведь получается, что болеть выгодно.

Так вот, если жизнь мерить не только туфлями — кофтами, которые действительно в некоторых странах дешевле, чем у нас, а всей суммой расходов на удовлетворение потребностей человека, то и получается, что действительная цена доллару — девяносто копеек.

К этому же выводу мы придем, если брать более крупные масштабы. Если чугун, иголки, машины, ткани — одним словом, вся продукция, выпускаемая нами за год, оценивается, скажем, в двести миллиардов рублей, то в США за эти же товары пришлось бы заплатить двести двадцать миллиардов долларов. Опять-таки то же самое соотношение: доллар — девяносто копеек.

Люди бизнеса все это отлично понимают. Если к тому же прибавить, что нашему рублю не угрожают инфляции, биржевые бури, кризисы, станет ясно, сколь устойчива и крепка наша валюта. Потому и ринулись за ней. Одни использовали туфли — кофты для личной наживы, другие, чтобы снабдить интуристов, уезжающих в СССР, третьи... Должно быть, это те, кого снабжают деньгами для подрывной работы.

Как только просочились за границу первые советские ассигнации, органы государственной безопасности поставили непреодолимый заслон на путях возможной экономической диверсии.

В первый период контрабандисты ввозили к нам промтовары, рассчитывая получать прибыль от беспошлинной реализации. Попытки вывезти наши деньги оказались безуспешными. Провалы следовали один за другим. Они не могли понять, почему чемоданы сотен и сотен туристов подчас даже не раскрываются в наших таможнях, а люди с контрабандой обязательно проваливаются. Свои неудачи объясняли все тем же затасканным, надоевшим «повсюду расставлены агенты ЧК». Именно так объяснил свой провал коммерсант и контрабандист Забо.

По пути в Одессу дежурная по коридору на теплоходе «Армения» обратила внимание на странное поведение Забо. Оплатив стоимость двухместной каюты, он ехал в ней один и не разрешал делать уборку. Он и не выходил почти из каюты. Не вышел, когда дежурная меняла постельное белье, лишь поспешно убрал со стола и спрятал отвертку.

Коридорная пожаловалась администрации: за долгие годы работы не помнит случая, чтобы во время смены постельного белья человек торчал в каюте, явно мешая работе, чтобы не отлучился за весь рейс хоть на полчаса.

В Одессе об этой детали узнал оперативный работник Юрий Александрович Леонтьев. Я хорошо его знаю. Добрый, интеллигентный человек, остроумный, интересный собеседник. Удивительно приятная улыбка. Ни позы, ни жеста — все просто, естественно. Мне кажется странным, что он на такой работе: слишком доверчивый, немного стеснительный. Слесарь, машинист, инженер, майор органов государственной безопасности.

На лице Юрия Александровича шрам, похожий на складку. Метка врага. Побежденного им врага. Шрам ему не мешает. Мешает боль в сердце. Боль от бессилия, когда знаешь, что перед тобой преступник, а доказать не можешь. Она осталась с тех дней, когда только начинал борьбу с контрабандой и опыта не хватало.

Особого значения прихотям Забо Леонтьев не придал. Мало ли чудаков на свете. Но все же интересно посмотреть на этого Забо, и он пошел в досмотровый зал.

Ничего подозрительного в вещах Забо не оказалось. В одном чемодане сувениры, в двух — личные вещи. Очень мало вещей, почти пустые чемоданы. Юрий Александрович лишь мельком взглянул, как проверяют таможенники, и все-таки подумал, что Забо — контрабандист. Ход его рассуждений был прост: ну зачем человек везет два почти пустых чемодана? То были не просто чемоданы, а кофры, складывающиеся гармошкой. Когда вещей в них нет, они кажутся небольшими, но при желании можно напихать бог знает сколько.

Не исключена возможность, подумал Леонтьев, что в иностранном порту, где Забо поднялся на борт «Армении», кофры были полными. До Одессы несколько дней хода, и за это время он спрятал в каюте их содержимое. После досмотра в Одессе кофры отнесут обратно в каюту, судно пойдет дальше.

Билет у Забо до Батуми. В запасе у него несколько дней, и будет возможность заполнить свои кофры. Значит, то обстоятельство, что, заботясь об удобствах интуристов, им предоставляют возможность путешествовать по стране на том же судне, на каком они прибыли, Забо решил использовать в своих целях.

Так рассуждал Юрий Александрович...

Когда Забо вернулся на судно, администрация принесла ему извинения, заявив, что в его каюте не горит свет. Поэтому придется перейти в другую, не менее удобную.

Забо пожал плечами: он привык к своей каюте, свет ему не нужен и никуда переходить не желает.

Администратор еще раз извинился, объяснил, что не может рисковать ни его благополучием, ни судном, ибо не исключена возможность, что в каюте где-то короткое замыкание, которое дает вспышку. Как ни упирался Забо, пришлось подчиниться.

Вскоре в каюту пришли монтеры. Осмотрели места крепления переборок, потолок, пол. Судя по закрашенным шурупам и болтам, их не трогали с самой постройки судна.

В потолок был заделан большой плафон, удерживаемый ободом на шурупах. Все три лампочки внутри не горели. Значит, дело не в них, а в проводе. Монтер провел пальцами по ободу. Пальцы скользили по масляной краске, как по стеклу. Но в одном месте чуть-чуть затормозились. Что-то липкое, Оказывается, не очень хорошо в этом месте подсохла краска. Как раз там, где была головка шурупа. Отыскал контуры головки второго шурупа, приложил к ней палец. И снова что-то липкое. Значит шурупы закрасили недавно. Странно...

Монтер отвернул шурупы, снял плафон вместе со стояком для лампочек. Над потолком пустое пространство. Посветил фонариком и увидел какие-то пакеты. Доложил администрации. А спустя короткое время появился здесь и Леонтьев.

1232 пары безразмерных носков, 57 нейлоновых изделий, 34 шерстяные кофты, 2180 многостержневых шариковых ручек — вот что спрятал над потолком Забо.

Перед ним опять извинились: оказывается, можно было его не тревожить, оказывается, просто перегорели пробки на главном щите, он может снова вернуться в полюбившуюся ему каюту. Пусть только немного подождет, пока там сделают уборку.

Забо не стал ждать уборки. На это и рассчитывал Леонтьев.

Забо шел, не торопясь, и было неясно, решил он возвращаться в свою каюту или нет. Безучастно, словно не замечая, взглянул на свертки, уносимые из каюты и, насвистывая веселую мелодию, проследовал мимо.

Не выдал себя Забо, и задержать его оснований не было.

Он не из тех, кто смирится с поражением. Нет, он сторицей возместит убытки... Убедившись, что промтовары — дело громоздкое, ненадежное, Забо, как и другие матерые контрабандисты, перешел на золото.

Казалось бы, пусть везут к нам золото. Но ведь важно, в чьи руки оно попадет. А советские деньги, уплаченные за него, уплывут из страны.

К новой операции Забо готовился тщательно. Изучал обстоятельства провалов своих собратьев, анализировал их ошибки и просчеты. Установил, что провезти золото удавалось многим, но их неизменно задерживали на обратном пути с деньгами. Повторялась та же закономерность, что и с промтоварами. Сотни и сотни интуристов, казалось, не интересуют таможню. А вот как раз тот, кто везет деньги, попадается.

Он продолжал считать, будто за иностранцами следят все те же «агенты ЧК». Не мог понять главного: приезжая в нашу страну, контрабандисты попадали в другое общество. Как бы ни маскировался контрабандист, он обязательно оставлял следы, бросающиеся в глаза любому из нас. Но об этих следах речь пойдет ниже.

Затеяв крупную операцию, Забо решил действовать не своими руками. Не рисковать. Самое трудное дело — провоз денег за границу — должен осуществить советский человек.

В Одесском клубе моряков, где проходил открытый судебный процесс над группой иностранцев, занимающихся контрабандой советских денег, я увидел бармена с теплохода «Армения». Судно это совершало регулярные рейсы по ближневосточной линии до острова Кипр. На теплоходе задолго до процесса я и познакомился с этим человеком.

В его баре всегда собиралось больше людей, чем во втором, хотя ассортимент и музыкальные записи в обоих одинаковы. Смотреть на Арама было приятно. Он работал легко и красиво. Бокалы, рюмки, чашечки кофе, бутылки мелькали в его руках, точно у жонглера. Радостно приветствовал входящих, каким-то чутьем угадывая, что вот этот пришел выпить бутылку пива, а тот хочет кофе. И когда они подходили к стойке, перед ними уже стояли откупоренная бутылка и дымящаяся чашка. Готовя коктейль, Арам успевал заметить жест сидящего за столиком и, не отрываясь от своего дела, изящно бросить через весь зал пачку сигарет, которая с удивительной точностью попадала в руки заказчика. Он подсчитывал в уме и запоминал, с кого сколько причитается, и называл сумму, как только к нему подходили рассчитываться. Арам был остроумен и находчив, его всегда уместные добродушные шутки вызывали смех.

Еще в первую свою поездку Забо обратил внимание на бармена. Теперь решил поближе с ним сойтись. Узнав расписание «Армении», приехал на Кипр и в порту Фамагуста купил билет до Стамбула. Почти всю дорогу проводил в баре. Вскоре Арам уже по-дружески называл его Курабом — так представился Забо. В действительности это было имя его помощника, нищенски бедного и безвольного человека, который фактически продался Забо за какую-то услугу.

В Стамбуле Арам и Забо расстались друзьями. Рейс «Армении» длится две недели. Когда теплоход снова появился в Фамагусте, Забо и Кураб поднялись на борт с туристскими билетами в СССР.

Ехали они в разных каютах. Забо целыми днями сидел в баре, их дружба с Арамом окрепла. А Кураб почти не выходил из каюты, и бармен не знал о его существовании.

В Одессе при таможенном досмотре Кураб предъявил тяжелую золотую цепь и другие золотые вещи, предварительно записав их в таможенную декларацию.

— Хочу покрасоваться у вас во всем блеске.

«Красуйтесь, — ответили ему, — только не забудьте увезти обратно свой блеск».

В Новороссийске Забо и Кураб сошли и самолетом улетели в Ереван. Но за короткий путь между двумя советскими портами у Забо состоялся решающий разговор с Арамом. Как и предполагал Забо, они нашли общий язык.

Спустя дней десять, когда «Армения» вернулась в Одессу, они снова встретились. Получив увольнение в город, Арам отправился в Одесское управление КГБ, где сказал, что должен сделать важное заявление. Его принял полковник, который пригласил к себе и Леонтьева.

Арам подробно рассказал всю историю знакомства с иностранным туристом, о его настойчивом стремлении сблизиться и, наконец, о его просьбе — провезти небольшой сверток. Просит по-дружески, готов хорошо поблагодарить: к иностранцам сильно придираются, а бармена едва ли это затруднит.

Не зная, как поступить, Арам пока согласия не дал, обещал подумать. И вот пришел.

— А что в свертке?

— Не знаю.

— Дайте согласие и принесите сюда. Прежде всего надо посмотреть, а там видно будет.

Спустя час Арам снова появился, вынул из чемодана сверток.

— Вот...

В нем оказалось пять тысяч рублей.

Арам был поражен и как-то сразу сник.

— Что с вами? — спросил Леонтьев.

Тот откровенно признался: боится. Боится мести. Кураб (так он называл Забо) подумает, будто деньги Арам присвоил. Такого контрабандисты не прощают. Судно заходит в десятки иностранных портов, и уж они найдут способ рассчитаться. Если устроить очную ставку, Кураб откажется от своих денег, уличить его не удастся. Но тогда Арама будет ждать еще большая кара.

Его стали успокаивать, обещая сделать так, что от него будут отведены малейшие подозрения. Неожиданно у самого Арама родился хороший план. Он назовет Курабу несколько мест, где легко спрятать деньги, скажем, в кресле курительного салона, в люстре, одним словом, что-

бы тот знал, где они спрятаны. При досмотре его личной каюты назовет таможенникам это место. О находке — уж он постарается — узнает все судно. И Кураб ничего не заподозрит, и деньги будут изъяты.

С планом согласились. Арама горячо поблагодарили, снова тщательно упаковали деньги, пожелали успеха.

— А теперь давайте думать, — сказал полковник. — Во-первых, Кураб может разгадать этот нехитрый план, и мы действительно поставим под удар хорошего парня. А во-вторых, надо не только изъять деньги, но и разоблачить контрабандиста.

Леонтьев предложил другой план...

На «Армении» стало известно, что заболел гриппом кладовщик и его сняли с рейса. Спустя минут двадцать на судне начали медосмотр тех, кто общался с кладовщиком. Вызвали и Арама. У него обнаружили все признаки инфекционного заболевания, выписали направление в больницу, велели побыстрее спускаться на причал, где ждет санитарная машина. Бармен едва упросил врача дать ему хоть десять минут на сборы.

Как теперь поступить, Арам не знал. На счастье, из соседней кабины вышел Леонтьев.

— Я уже в курсе дела, — сказал он, проходя мимо, — верните сверток владельцу.

Арам так и поступил. Захватив свой чемоданчик, в котором лежали деньги и кое-какие вещички, он легко нашел каюту Кураба, хотя ни разу в ней не был. Там находился Забо. Они обменялись несколькими фразами. Оставив сверток, Арам побежал к трапу.

Леонтьеву доложили, что в каюту заходил Арам. Все идет точно по плану. Контрабандист будет схвачен на месте преступления. Куда бы он ни спрятал деньги, их найдут обязательно.

Леонтьев знал это точно. Но знал он не все. Не знал, что мысль заявить о контрабандисте в КГБ и план Арама, как поступить с деньгами, принадлежал не бармену, а Забо. Не знал, что прямо из управления КГБ Арам явился к Забо и стенографически точно передал весь разговор, все, что там происходило.

Забо не мелкий спекулянт. Это авантюрист крупного масштаба, умный и дальновидный. Пять тысяч рублей — деньги, конечно, большие. Но стоит потерять их, чтобы приобрести во много раз больше.

Получив сообщение Арама, в органах КГБ подумают, будто он их надежный помощник. Ему окажут полное доверие и вряд ли в следующие рейсы станут тщательно досматривать. Тайников же в баре сколько угодно. Вот тогда и начнется настоящая работа. Араму этот план тоже понравился, поскольку в глазах контролирующих органов он становился вне подозрений.

Но и Арам знал не все. Не знал настоящего имени Забо, не знал о существовании подлинного Кураба. Решив проверить, не поведет ли с

ним Арам двойную, вернее, уже тройную игру, Забо полностью обезопасил себя. Вот как он это сделал.

Каюты Забо и Кураба находились рядом. Между каютами общий умывальник. Задолго до начала досмотра Забо поменялся местами со своим помощником, пройдя через умывальник и не выходя в коридор. Если бы ничего неожиданного не произошло перед самым досмотром, каждый занял бы свое место. Но явился Арам, рассказал о происшедшем, повторив фразу Леонтьева: «Верните сверток владельцу».

Значит, Арам ведет игру честную и на него в дальнейшем можно положиться. Не сомневаясь, что бармена спросят, вернул ли он деньги владельцу, велел ему не беспокоиться и ответить точно, как было. После ухода Арама Забо опять-таки через умывальник позвал Кураба, приказал спрятать сверток.

— У меня шесть душ детей, — взмолился Кураб.

— Замолчи! — крикнул Забо и ушел в свою каюту.

Он не сомневался: деньги у Кураба найдут. Вот и хорошо. «Агенты ЧК» убедятся в точности информации Арама. Правда, Курабу не поздоровится, но ради будущих операций стоит пожертвовать и таким верным помощником.

Когда таможенники пришли в каюту Кураба, он беспомощно развел руками:

— Украли. Не успел выйти из номера гостинницы в Ереване, как все исчезло. И золотая цепь и все драгоценности. Вот... И он предъявил справку ереванской милиции о том, что действительно заявлял о пропаже золота, значившегося в декларации.

Деньги у него легко нашли. Он завернул их в нейлоновый шарф и завязал на теле поясом.

А Забо? Хотя пока у него были только потери, но почву для крупной контрабанды он подготовил надежную.

В открытой беседке парка сирийского города Алеппо встретились пять человек из трех стран. Они выслушали предложение Забо, согласились вложить деньги в его дело, возместить потери по подготовке операции и уплатить ему комиссионные.

В помощь Забо выделили трех человек, знавших армянский язык. Чтобы не подвергать лишнему риску Арама, решили провезти в СССР золото без его помощи, рекомендовали Забо выбрать удобный момент и сообщить Араму пароль, после чего больше с ним не общаться.

Золото легко продать, если оно не в слитках и не в изделиях, а в монетах. Участники операции начали скупать английские, русские, турецкие, сирийские золотые деньги. Достаточного количества не раздобыли, но нашли мастера, который умел чеканить старые русские десятки.

Искуснейший шорник сработал широкий и толстый ремень, в который по просьбе заказчика вложил пятьдесят монет. Столь же искусный

краснодеревщик заделал множество монет в массивные «плечики» для одежды. Изобрели еще несколько способов прятать золото.

И оно благополучно было доставлено в Ереван, где жила сестра Забо. Ее муж Азат работал на заводе слесарем, но где-то добывал и перепродавал нейлоновые рубашки, женские сумки и другие товары.

Вместе с большой группой интуристов Забо остановился в гостинице. К сестре зашел только один раз, чтобы свести Азата со своим товарищем. Через Азата тот и познакомился с Арутюном Назаретяном, Саргисом Гезаляном и Артуром Джагаласяном, скупавшими не только вещи, но и золото. Вскоре в сделку вступили все помощники Забо.

Контрабандисты и покупатели не торопясь прощупывали друг друга. Никто не выкладывал своих возможностей, продавали по пять-десять монет, потом намекали, что можно раздобывать еще. Первую крупную сделку совершил Гезалян с одним из помощников Забо. Выехав за город, минут пятнадцать ходили взад — вперед, подтверждая друг другу вчерашнюю договоренность, потом зашли в кустарник и обменялись пакетами. В одном было сто золотых монет, в другом — семь тысяч рублей.

К этому времени в Ереван прилетел Леонтьев. Его интересовал Забо. Было у него и еще одно небольшое дело, по которому он зашел в отделение «Интуриста». Здесь девушка-переводчик жаловалась подруге:

— Ну что мне делать! Понимаешь, ничего их не интересует. Ни музеи, ни театры, ни архитектура, ни красивые места, ну, ничего решительно.

Оказывается, из полсотни туристов, которых она так хорошо обслуживает, попались четыре «трудных», и просто неизвестно, зачем они приехали.

Леонтьев выяснил имена четырех. Один из них был Забо. Спустя несколько дней стала известна новая деталь. После закрытия крупного универмага кассирша рассказала сослуживцам, что вот только что какому-то типу дала по его просьбе сотенную купюру вместо ста рублей пятерками. «Может быть, еще есть, — сказал он, — я вам сто три рубля дам за сотню».

И снова контрабандисты не учли, что попали в чужое для них общество. Милиционеру, находившемуся тут же, этот разговор не понравился. Зачем человек собирает сотенные билеты да еще лишнюю трешку дает? Что-то здесь не так. О своих сомнениях доложил начальству. Стало это известно и работникам КГБ.

Леонтьев поговорил с кассиршей. С помощью ереванских коллег установили, что этот «тип» — один из помощников Забо.

И еще интересный факт узнал Леонтьев. Пассажир сел в такси, по дороге захватил еще одного, ждавшего на углу, и они уехали за город. Почти все время пути молчали. Возле каких-то кустиков остановились,

велели шоферу развернуть машину и, чуть отъехав, подождать. Погуляли немного, зашли в кустарник и вскоре снова поехали в город.

Пассажиры хорошо заплатили шоферу, но он злился. Зачем же такой путь проделали? Может, спрятали чего? Пожилой человек, бывший фронтовик решил сообщить о своих наблюдениях «кому следует».

Его спросили, где сошли пассажиры в городе. Он назвал два адреса: гостиницу и частный дом.

По описанию шофера Леонтьев сразу признал в одном из пассажиров помощника Забо, а Саргис Гезалян был взят под подозрение впервые.

Вне подозрений остался Азат, а ведь именно ему была вручена крупная сумма. Взяв «по семейным обстоятельствам» отпуск на несколько дней, Азат улетел в Сочи, где и поднялся на борт «Армении», идущей в Одессу. Отыскал Арама и, выбрав удобный момент, показал ему фотографию Забо.

На переходе Сочи — Туапсе в каюту номер 205 Арам вошел с пустым баулом. Вскоре вернулся к себе, запер дверь, задраил люк и при свете узкого луча настольной лампы раскрыл баул. Сорок одна тысяча рублей, пятьсот долларов, опечатанный моток платиновой проволоки весом около семисот граммов — все точно, как и сообщил Азат.

Честно, в соответствии с договоренностью, отсчитал и спрятал в карман три тысячи рублей. Остальные упаковал в два целлофановых пакета, вложенных один в другой, накрепко завязал и запер в шкаф.

В тот ночной час никто не мог бы прийти на камбуз. А он вошел туда, взобрался к запасному баку с водой под потолком и опустил в него целлофановый пакет.

В Одессе сошел на берег и спрятал дома заработанные им три тысячи. А тем временем из Еревана рейсом на Одессу готовился вылететь Забо. Судя по расписанию, он вполне поспевал на очередной рейс «Армении».

Друзья Забо тепло проводили его, долго потом стояли у ограды, наблюдая посадку, и ушли, когда убрали трап и тягач потянул самолет. На взлетной площадке произошло недоразумение. Дело в том, что посадку начали поздно, проходила она неорганизованно и по указанию стюардессы люди садились не на свои места, а где придется.

Перед самым взлетом выяснилось, что на борту два лишних пассажира. Начали снова проверять билеты. Сразу же обнаружили этих двоих, которые, оказывается, должны лететь со следующим рейсом. Попутно обнаружили неправильно оформленные документы у интуриста. По радио с аэровокзала срочно вызвали машину, спустили раздвижной трап, и командир корабля попросил всех троих сойти вниз. Они и сошли. Леонтьев со своим коллегой и Забо. В машине контрабандисту предъявили ордер на арест. Поступить иначе Леонтьев не мог: если взять Забо

из гостиницы, всполошится вся его группа, а в Одессе по ряду важных обстоятельств его арест был крайне нежелателен. Часа через три состоялся первый допрос.

Именно в это время тяжелые минуты переживал Арам: шел таможенный досмотр. Он сидел в каюте, напряжение нарастало. В голову пришла спасительная мысль: шепнуть таможеннику, чтобы осмотрели на камбузе запасной водяной бак. И он обрадовался, представив себе, как будут его благодарить и поздравлять. Арам отправился искать таможенников. Какие широкие просторы открылись перед ним! Через полчаса таможенники и пограничники покинут судно, раздадутся знакомые и всегда возбуждающие команды: «Поднять трап!», «Отдать все концы!» Не приди ему в голову эта счастливая мысль, на всю жизнь лег бы на душу камень... Уплыли бы на черный рынок Запада советские деньги и важнейшее стратегическое сырье — платина. И какое это счастье, что одной его фразы достаточно, чтобы не упасть в пропасть, над которой уже повис, и превратиться из предателя в гордого сына своей страны...

Должно быть, не пришли в голову Арама такие мысли. Просто очень хотелось мне, чтобы он так подумал, и невольно написал я эти слова. В действительности не думал он об этом и в коридор не выходил. Он сидел в своей каюте, как загнанная мышь, и вслушивался. Долетавшие сквозь открытый иллюминатор шум портовой сутолоки, смех, прощальные возгласы — все, все, что творилось вокруг, не задевало его слуха. Точно настроенный на одну волну, он ловил только ее, ждал только определенных слов. И они раздались:

— Поднять трап!

Сжалось, остановилось сердце. Он зажмурился и минуту просидел в сладостной истоме. Все. Можно идти в бар.

«Армения» набирала ход. Остался позади Змеиный остров. Привычно потекли дни. Босфор, Мраморное море, Дарданеллы.

В Эгейское море вошли ночью. Никем не замеченный, проник на камбуз, извлек из бака целлофановый пакет. Запершись в каюте, вскрыл его. Ни одна капля воды не проникла внутрь. Теперь уж действительно ему нечего было опасаться. В Фамагусте двое предъявят фотографию Забо, и он скажет им, где сверток.

Средиземное море было спокойным и солнечным. До острова Кипр оставалось шесть часов хода. Арама вызвал к себе капитан Дмитрий Васильевич Кнаб. За сегодняшний день это был третий вызов: капитан собирался дать пассажирам традиционный прощальный ужин.

— Что же ты не несешь? — обиженно сказал Дмитрий Васильевич, когда появился Арам. — Видишь, и товарищи уже нервничают, — показал он на сидевших рядом помощников.

— Что подать? — с готовностью отозвался Арам.

— Как что? Советские деньги, доллары, платину...

Арам выдержал этот чудовищный удар:

— Вы все шутите, Дмитрий Васильевич.

...Он упирался долго. Упирался, когда назвали точную сумму рублей, сумму долларов, вес платины. Сник после слов Кнаба:

— В Фамагусте никто не предъявит вам фотографию, потому что вы будете нести вахту по камбузу. А ведь посторонних туда не пустят.

Спустя короткое время вся контрабанда была перенесена в капитанский сейф.

Когда «Армения» входила в Эгейское море, Леонтьев и его армянские коллеги еще не знали, кто и кому передал деньги. Но все нити постепенно сходились к одной точке.

Все скупленное у контрабандистов золото при обыске было обнаружено у Гезаляна и двух его дружков. Они признались, у кого купили и сколько за него заплачено. Но ни у Забо, ни у его помощников крупных денег не оказалось. После очных ставок «покупателей» и «продавцов», после множества показаний каждого в отдельности упираться дальше было бессмысленно. Первым во всем признался Забо, попросив учесть этот факт, когда будет суд. И еще одно обстоятельство просил учесть: лично он не занимался контрабандой, главные виновники — три его товарища.

Радиограмма капитану Кнабу дала возможность пресечь преступление. А суд воздал виновным по заслугам.

* * *

Нелегок труд работников органов государственной безопасности. Они должны разгадывать тайны. Тайны против государства. Это не кроссворды и не фокусы Кио: не разгадал, ну и ладно. Разгадать надо во что бы то ни стало.

Те, кто ведет борьбу с контрабандой, научились находить драгоценности и деньги в фильтре машины иностранной марки и в корпусе авторучки, в трубах рамы детского велосипеда и в головке чернобурки, в принадлежностях религиозного обряда и в подушечках костылей безногого. Об этих случаях западная печать не пишет.

А вдруг искали бы, да не нашли, скажем, в церковных принадлежностях? Уж тут бы эта печать подняла скандал на весь мир. Какой же риск принимают на себя люди, ведя подобный досмотр. Ошибиться им нельзя. Ошибка эта — ущерб престижу государства.

Да, такие, как Леонтьев, рискуют, понимая всю меру ответственности, какую берут на себя. Но риск их не безрассудный. Он зиждется на несокрушимой базе, на главной опоре органов государственной безопасности — на помощи советских людей.

Преступление группы Забо, на первый взгляд, распутывалось благодаря случайностям. Случайно Леонтьев и его коллеги из Еревана определили состав группы Забо, случайно узнали, что он собирает крупные купюры, случайно обнаружили его связь с Гезаляном и еще десяток случайностей.

Нет, не случайности это. Закономерность! Пусть не эти, так другие «случайности» выдали бы с головой заморских преступников. Не та среда для них, и деться им в нашей стране некуда.

1967 г.



56 000 000

В каморке под лестницей какого-то служебного помещения карандашного короля Фабера участник Нюрнбергского процесса, тогда еще майор Борис Полевой писал дневники. Именно эти дневники он и издал сегодня без каких-либо поправок конъюнктурного характера. Он показал события, как они виделись ему почти двадцать пять лет назад.

Полевой не выступал на суде в качестве свидетеля, но записывал в дневники свои свидетельские показания о фашизме в той последовательности, в какой они проходили на процессе. Он дополнял материалы судебного дела собственными показаниями, на что имел полное право, ибо собственными глазами видел главные события войны и главные преступления фашизма. И говорить о них он может так, как они представились только ему. Поэтому даже широко известные факты, опосредованные художником, приобретают новое звучание. Вот, например, рассматривается преступление у Бабьего Яра. И Полевой записывает: «Это живет во мне. Это, вероятно, будет жить до могилы — крутой откос большого оврага и по срезу откоса, как некое геологическое напластование, мешанина из человеческих тел. Слой метра в два.

Как раз в эту минуту саперы раскрывали его. Их лица были завязаны мокрыми полотенцами — такой, несмотря на морозный день, стоял смрад... А тут еще бродила какая-то седая взлохмаченная женщина и не то плакала, не то смеялась, и чернявая девочка все пыталась ее увести».

Писатель дает свои свидетельские показания и оборачивается на скамью подсудимых. Он только смотрит, только бесстрастно описывает их поведение и внешний вид, а мы ясно ощущаем атмосферу, царившую в зале, чувствуем состояние людей, потому что оно передалось нам.

Судьи беспрецедентного в истории человечества процесса, цвет судебно-медицинской и юридической науки, корреспондентский корпус, представляющий более ста стран, мощная контратакующая адвокатура, свидетели обвинения и свидетели защиты, эксперты самых различных областей знаний... Создалось некое сообщество, некий немыслимый, казалось бы, коллектив, члены которого были обречены почти год ежечасно общаться друг с другом в служебной обстановке, в быту, на отдыхе. Этот маленький мир не фигурально, а буквально представлял собой Вселенную в миниатюре со всеми политическими течениями, противоречиями, борьбой. В этом мире, объединенном судебным процессом, шла своя жизнь. Здесь совершались взлеты и падения, разыгрывались трагедии и комедии, проявлялись подлость и благородство. Дельцы делали свой бизнес, и состоялась даже свадьба людей, познакомившихся на процессе.

Каждый корреспондент освещал события, руководствуясь одним из трех принципов: справедливостью и совестью, или погоней за сенсацией и барышами, или требованиями босса. Потому и стало возможным сообщение американской газеты, данное из зала суда, будто на очередном заседании Главный советский обвинитель Р. А. Руденко застрелил Геринга. Потому и посмел один из американских журналистов, захватив оба телеграфных провода, передавать по ним Библию, а заодно и текст сенсации из зала суда, чтобы лишить коллег возможности своевременно передать информацию в свои органы печати. Потому и продавал как сувениры веревки, на которых были повешены преступники, американский сержант Джон, приводивший в исполнение приговор. Веревки повешенных, а заодно и любые другие, попавшие под руку, он резал на дольки, подобно колбасным ломтикам, в зависимости от того, кто сколько заплатит. Немалый бизнес делал бывший личный фотограф Гитлера. Он продавал здесь фотографии главарей фашизма, снимки их любовниц, их собак...

Это был мир, где нравы человеконенавистников-подсудимых соседствовали с принципами элементарной порядочности, нравы голого чистогана — с высокой идейной чистотой, которую олицетворяли советские представители в составе суда.

И этот немыслимо разнокалиберный мир в главном и решающем — в оценке фашизма — неумолимо пришел к единым выводам. Подобное сообщество стало возможным только потому, что мир увидел, перед какой катастрофой оказался, — катастрофой, предотвращенной идейным могуществом, вооруженной силой, героизмом и кровью наших людей. И судьи, и более трехсот журналистов из различных стран, освещавших процесс, сурово осудили фашизм и выразили свое преклонение перед великим подвигом советского народа.

Нюрнбергский процесс создал прецедент, новые международные каноны, как бы всемирную хартию, обязательную впредь для всех государств и правительств, принятую впоследствии Генеральной Ассамблеей ООН и устанавливающую беспощадную кару за любую агрессию, применение средств массового уничтожения, всего того, что, поправ эти установления, Америка применяет сегодня во Вьетнаме.

Всемирная хартия, созданная Нюрнбергом, объявила тягчайшим преступлением геноцид, обстрел и захват чужих территорий и другие подобные акции, которые по указке и при помощи США совершает сегодня Израиль.

Прецедент Нюрнберга определяет суровую кару всем безумцам, которые посягают на мир народов. Эту мысль отчетливо выразил в беседе с К. Фединым и Б. Полевым председательствовавший на процессе умный и дальновидный английский судья Джефрей Лоренс, назвав трибунал «великим прецедентом».

Б. Полевой создал многоплановое художественное произведение, раскрыв характеры огромной галереи действующих лиц, показав дух времени и грандиозный конфликт эпохи. Читая «Дневники», то содрогаешься от ужаса, то гордостью наполняется сердце за свой народ и армию, а то подкатывается к горлу комок, или, как ни странно, улыбаешься, или просто смеешься.

Мы видим главарей третьего рейха, когда они еще были рядовыми гадами, как раздувались и жирели они, заглатывая добычу, как бросились на «орешек» не по зубам и попали в клетку. Отчетливо предстают они в каждой из этих стадий. До нас доносятся их блатной язык, их грозные приказы и истерические крики, их шепот и бормотание на скамье подсудимых.

Точно живые, перед нами стая адвокатов — защитников фашизма. Умные, опытные, образованные, они знают, когда и какая должна быть применена тактика, какую выбрать стратегию, знают, что такое казуистика, как скомпрометировать свидетеля или документ, как сбить с толку обвинителя.

Великолепно показал Полевой корреспондентский корпус. Это целая повесть о журналистах. «Корреспонденты западной прессы» вовсе не единое целое, как мы это порой представляем себе. Рядом с «акулой», пе-

редававшей по телефону текст Библии, стоит американский журналист Ральф, талантливый и честный, ярый противник приемов желтой прессы, далеко не всякие сообщения которого печатает его босс. А вот веселая, обаятельная американка Пегги, почти всегда первой добывающая самую интересную информацию и щедро отдающая ее коллегам. Кажется, один только раз, в конце процесса, ее постигла неудача. В первый день оглашения приговора зачитать резюме, то есть, кому какая определена мера наказания, не успели. В пресс-кэмпе, в журналистском баре, немыслимый ажиотаж. Идут споры, заключаются пари, но никому не удается узнать полного содержания приговора. Он станет известным только на следующий день. Пегги объявила, что готова переспать с тем, кто откроет ей резюме сегодня.

— Я предложила это одному очень осведомленному судейскому, — возбужденно говорила она в кругу журналистов. — Он ко мне давно неравнодушен.

— Пегги, ну и что же он?

— Свинья. Ответил, что послезавтра он к моим услугам.

Среди методов работы западных журналистов есть и такие, что стоит позаимствовать, и сомнительные, и вовсе нам не подходящие. Многие, например, пользовались информацией бывшего циркача, американского сержанта, охранявшего скамью подсудимых. В цирке он воспроизводил по памяти на любом языке текст, который ему зачитывали зрители. А на суде делал свой бизнес, запоминая разговоры подсудимых и слово в слово передавая их, естественно, за вознаграждение, журналистам.

С любовью рассказывает Полевой о советских журналистах и их собратьях — писателях. К сожалению, очень редко мы пишем об этих бойцах идеологического, военного, хозяйственного и всех других фронтов борьбы. О самом авторе написать бы вот так же. Многие ли, например, знают, что один из своих орденов, орден Боевого Красного Знамени, Борис Полевой получил не за труд военного журналиста, а за блестящее выполнение ответственнейшего, сугубо боевого задания, связанного со смертельным риском.

Но это я отвлекся. Вернусь к дневникам.

Для суда недостаточно слов. Суду нужны доказательства, документы. И обвинители кладут их на стол суда.

Вскрыты сейфы третьего рейха. Найдены тайники, замурованные в склепах архивы, сорваны сургучные печати со сверхсекретных документов, захвачены приказы, протоколы, записи бесед с личными подписями главарей фашизма. Эти документы воссоздают картину зарождения, развития и гибели национал-социалистской партии, главной идеей которой было установление своего мирового господства.

Идеологи фашизма разработали систему истребления миллионов людей под кодовым названием «Нахт унд небель» — «Ночь и туман», в

соответствии с которой была создана индустрия смерти. Она насчитывала свыше трех тысяч предприятий. От мелких, с производительностью до сотни трупов в день, где людей умертвляли отсталым кустарным способом — выстрелом в затылок, до гигантских комбинатов смерти, подобных Аушвицу, Бухенвальду, Маутхаузену, где истребление было механизировано, электрифицировано, химизировано, где трупы подавались в цеха на конвейерах, где действовали автоматические тесаки для рассечения трупов, механизированные вальцы для перемалывания костей и прессы для изготовления из костной массы удобрительных туков.

Суду нужны вещественные доказательства. И прокурор срывает покрывала со столов, стендов и витрин. На изящной мраморной подставке — высушенная каким-то немыслимым способом человеческая голова с длинными зачесанными назад волосами. Такие статуэтки изготовлялись для украшения гостиных и кабинетов фашистских главарей. Приглянувшегося посетителю заключенного убивали и делали из него этот сувенир. На специальных стендах — человеческая кожа в разных стадиях обработки: «...только что содранная с убитого, после мездровки, после дубления, после отделки. И наконец, изделия из этой кожи — изящные женские туфельки, сумки, портфели, бювары и даже куртки».

На столах ящики с кусками мыла, сваренного из людей, мыла разных сортов: «...хозяйственного, детского, жидкого для каких-то технических надобностей и туалетного, ароматного, в пестрых красивых упаковках».

Все это иллюстрации к приведенным на суде показаниям «ученого» фашиста Зигмунда Мазура из Кенигсбергского научно-исследовательского института, где решались проблемы «разумной промышленной утилизации» человеческого мяса, жира, кожи. «Человеческая кожа, — сказал Зигмунд Мазур, — лишенная волосяного покрова, весьма хорошо поддается процессу обработки, из которой, по сравнению с кожей животных, можно исключить ряд дорогостоящих процессов». Мазур объяснил: «После остывания сваренную массу выливают в обычные, привычные публике формы, и мыло готово».

Зигмунда Мазура, внешне похожего на человека, с человеческим именем, породил и воспитал фашизм. Именно из таких «истинных германцев», по идеологии фашизма, и должна была состоять высшая раса, властительница мира.

Разоблачая эту чудовищную идеологию, автор описывает не только вещественные доказательства. Он рисует обстановку на скамье подсудимых, на гостевом балконе, в креслах прессы; поведение судей, адвокатов, обвинителей. Мы ощущаем атмосферу, царившую в зале, видим перекошенные от ужаса лица, слышим шаги людей, выносящих упавшую в обморок женщину. И вспоминаются слова главного американского обвинителя Джексона, приведенные в начале книги: «...доказательства пре-

ступлений будут ужасающими, и они лишат вас сна». Мы с пониманием смотрим на пожилую американскую журналистку, подошедшую в перерыве к советским людям: «Сенкью... спасибо... Спасибо всем — Красной Армии спасибо большой... Солдат, офицер, дженераль — спасибо».

Вместе с автором поражаешься тому, что восемнадцать сидевших на скамье подсудимых, высшая иерархия национал-социализма, недавние владыки многих стран, перед которыми трепетало не одно правительство, мелко юлили на суде, изворачивались, симулировали амнезию, от страха гадили в штаны. Когда произнесли они последнее слово, автор делает в своем дневнике запись: «Я наблюдаю этих рейхсминистров, рейхсмаршалов, гроссадмиралов, гаулейтеров и поражаюсь: ни один из них не произносит слова в защиту или хотя бы в оправдание нацизма, творцами и идеологами которого они были, ни один не пытается защищать символ своей нацистской веры...».

Мы знаем всякие суды. Фашисты пытались судить Георгия Димитрова. Он отказался от защиты, и гремел в зале суда его голос как гимн коммунистической партии, он оглушил и заставил замолчать организаторов судебного фарса.

Пораженный, как легко отреклись от национал-социалистской партии ее идеологи, Полевой вспоминает и записывает в свой нюрнбергский дневник эпизод из тягчайших времен обороны Сталинграда.

В промерзшем и оледеневшем подвале на берегу Волги работник политотдела, отогревая своим дыханием руки, заполнял новые партийные билеты. «Я ведь по гражданской своей профессии историк, — говорил он. — И вот теперь частенько думаю, сколько разных партий существовало... Росли, крепли, множились, когда волна удачи и конъюнктуры несла их вверх, когда принадлежность к ним сулила карьеру и всяческие земные блага. Но стоило судьбе повернуться к этим партиям спиной, они сразу же начинали хиреть, таять и вовсе разбегались...

А у нас, впервые с тех пор, как существует мир, это я вам как историк говорю, у нас — наоборот... Вот сейчас уж куда тяжелее: Ленинград в блокаде, от голода вымирает, немцы у самого волжского берега, да где, в центре России. Половину нашей промышленности забрали, шесть республик под ними, голод, холод, бесприютица, а партия, вон она как растет. Одиннадцать с честью погибли в бою, а шестнадцать подали заявления. Каково? А? Об этих цифрах не говорить, а песни петь надо...»

Святые слова говорил этот старый и очень больной человек в оледеневшем сталинградском подвале.

Мы помним великий траур в нашей, тогда еще разрушенной и отсталой стране: смерть Ленина. И помним, как могучей волной хлынули тогда в партию коммунистов лучшие силы народа. Нам не забыть, что фашизм поставил под угрозу само наше существование. И чем тяжелее

было, тем большей любовью окружал партию народ. Мог ли фашизм, с его звериной идеологией, тягаться с такой партией!

Когда Полевой рассказывает о промышленных предприятиях смерти, когда описывает вещественные доказательства, не можешь избавиться от какой-то неясной, но навязчивой и тревожной мысли. Будто не договаривает чего-то автор. Чего-то очень важного, может быть, самого главного... И вдруг откладываешь книгу, он же не мог тогда об этом говорить.

Ведь фашизм возрождается! Возрождается сегодня, на глазах всего мира, открыто и нагло. Возрождается теми же путями, какими однажды появился на свет. Уже носители идей реванша пытаются растоптать Потсдам, как некогда был растоптан Версаль, уже захватываются чужие территории, и агрессорам потакают, как некогда в Мюнхене.

«Сумасшедший с бомбой» — так назвал Гитлера Михаил Кольцов. Мы знаем, что натворил сумасшедший с бомбой. Мы знаем, что может натворить сумасшедший с атомной бомбой.

Где же гневный голос корреспондентского корпуса Нюрнберга? Или кто-то надеется опять сказать «сенкью — Красной Армии»? Сенкью — за кровь миллионов?..

Куда, в какие пыльные подвалы упрятали мертвые головы на изящных мраморных подставках? Где галантерейные и обувные изделия из человеческой кожи? Где мыло в красивых упаковках и удобрения, перемолотые и сваренные из человеческого мяса, жира, костей?

Почему это спрятали? Почему хотят, чтобы об этом забыли?

Недавно я провел месяц в Западной Германии. Ворота в Дахау оказались запертыми. Весь лагерь спрятали. Хотят, чтобы люди о нем забыли. Аккуратно выложенная кирпичом дорожка ведет к огромному стенду в ста метрах от главных ворот. На нем красивый пейзаж, выполненный масляной краской, и надпись на четырех языках: «Посетите Дахау, этот 1200-летний центр искусства с замком, парком и неповторимой красоты панорамой».

Что за наваждение? Какой центр искусства, какой замок? Мир знает Дахау как гигантский лагерь смерти. Какое чудовищное кощунство!..

По велению народов бывшие лагеря смерти должны быть открыты как вечное напоминание о безумствах фашизма. Но Дахау для населения Западной Германии практически закрыт. Туда можно попасть в считанные часы, именно в то время, когда люди работают.

Забудьте Дахау! Дахау — это центр искусства. Забудьте о лабораториях Дахау, где на живых людях испытывалась сыворотка тропической лихорадки, где людей погружали в ванны с водой и битым льдом, чтобы определить, когда наступит смерть, где изуверы через стеклянные глазки изучали ход конвульсий заключенных в камерах, откуда постепенно

выкачивали воздух. Забудьте! Дахау — это неповторимой красоты панорама.

Я не поехал смотреть эту красоту. Нашел хозяев города и потребовал: «Откройте ворота Дахау. Там замучены десятки тысяч моих соотечественников, я приехал поклониться их праху!»

Мне не посмели отказать. Пользуясь случаем, вместе со мной прошли за бетонные ограды и заборы колючей проволоки несколько местных жителей...

Я проехал по Западной Германии три тысячи километров. Останавливался в городах, деревнях, поселках. И повсюду видел реваншистские плакаты и лозунги. Как дорожные знаки, пестрят они вдоль шоссе, капитально укреплены на заборах и зданиях. Одинаковые, стандартные, они сработаны одной рукой, напечатаны в одной типографии, распространены из единого центра. Это сделано теми же реваншистскими силами, которые пытаются помешать нормализации отношений между СССР и ФРГ, мечтают о новых захватнических походах.

Я был в мюнхенских пивных, где когда-то зарождался фашизм. Это не питейные заведения в привычном понимании. В залах пивной Хофбройхаус, похожих на ангары, вмещается более двух тысяч человек. Сегодня, как и в гитлеровские дни, за длинными некрашеными столами под знаменами Баварии стучат тяжелыми кружками бурши и, все больше распаляясь, под дробь барабана и визг дудок музыкантов в черных кожаных шортах истошно кричат о новых походах.

В Западной Германии сосредоточены центры американской идеологической диверсии, их диверсионные школы, их радиостанции под чужими названиями, здесь свили многочисленные гнезда предатели из стран социализма.

Я знал, где их искать. В притонах Гамбурга на Реппербане, в ночных кабаках Франкфурта-на-Майне собираются эти отбросы общества как на бирже труда, откуда и берет их американская разведка по бросовым ценам для любых провокаций и диверсий.

Но сейчас речь не о них. Это лишь пример того, как собираются вместе реваншистские силы любых мастей и категорий — от новой нацистской партии до профессиональных политических уголовников.

Больше трехсот журналистов участвовали в Нюрнбергском процессе, писали о крахе фашизма. Видят ли они, что делается в мире? О чем они пишут сегодня? Пусть выйдут на трибуну и расскажут о своей неутихающей боли за гибель народов. Пусть разнесется по планете их проклятье тем, по чьей вине и сегодня льется кровь. Пусть поставят несмываемое клеймо, как на прокаженном, на каждом, чьи руки в крови. Пусть не остывает это раскаленное добела клеймо, чтобы трепетали перед ним носители идей реванша и войны. Пока еще не поздно, надо затоптать в зародыше проросшее ядовитое семя фашизма и поднять народы против

любых агрессий, международных провокаций и политического шантажа.

Надо извлечь из хранилищ экспонаты кровавых безумств фашизма — вещественные доказательства Нюрнбергского трибунала и выставить для обозрения народам и правительствам.

На американской статуе Свободы, на телевизионных вышках Западной Германии, на храме неба в Пекине, на главных площадях столиц мира надо написать метровыми огненными буквами последнюю строчку Нюрнбергского приговора: «Агрессорам — смерть через повешение».

1969 г.



ГОРЬКАЯ ПЕСНЯ ЮРИКО

В префектуре Фукуока на берегу Симоносекского пролива распластался порт крупного промышленного центра Кокура. Здесь я познакомился с группой японок, среди которых была и Юрико. Едва ли доведется еще когда-нибудь ее увидеть, но, возможно, эти строки дойдут до нее и выразят то, что я не мог, не имел права ей сказать.

Наш турбоход «Физик Вавилов» пришел сюда из Сингапура, где мы разгрузили цемент с Новороссийского завода.

Подходы к Кокура красивые. Множество островов и островков, то утопающих в зелени, то неприступно скалистых и величественных. Они со всех сторон, и кажется, что плывешь по озеру. Маленький японский лоцман, улыбаясь и кланяясь, будто о личном одолжении просит старшего рулевого Виктора Ануфриева:

— Позялюста, помалю лева.

Он может и должен говорить по-английски, как и положено в мировой практике судовождения, но то и дело вставляет русские фразы, чтобы сделать нам приятное. Кстати, так поступают не только японские лоцманы. Команды на ходовом мостике укладываются в два-три десятка русских слов, и их усвоили многие моряки мира. Я слышал команды турец-

ких лоцманов по-русски на Босфоре, немецких — в Суэцком канале, кубинских — в Карибском море, арабских — у Касабланки, индусских — в Бенгальском заливе и Аравийском море. Это в знак особого уважения к нашей стране.

Раннее утро. Мы идем среди сопок и гор, покрытых вечнозелеными растениями, и на мостик доносится тихая, будто заглушенная горами мелодия. То ли наш радист поймал японскую станцию, то ли плывет эта мелодия с моря, нежная и грустная, и слышится в ней жалобное, далекое, несбыточное. И чудятся рисовые поля и голые, согнутые спины, и тяжелые сети рыбаков, и что-то горькое, безысходное в этой песне, и трогает она душу.

Мы приближаемся к порту. На подходах все те же острова, но точно корабельные мачты торчат из них заводские трубы. Горизонт застилает оранжевый дым химических предприятий. Черный туман плывет над всей территорией. А на воде великое множество судов. Это уже не рыбацкие джонки. Это сухогрузы, танкеры, рудовозы, буксиры, плашкоуты, лееры, плавучие краны. Будто перекресток огромной транспортной магистрали. Это и в самом деле транспортная магистраль десятков, сотен заводов. К одному из них, к причалам концерна Сумитомо, идет наш турбоход.

Первым на борт поднимается инспектор морской полиции. Он поздравляет нас с благополучным прибытием из далекого, трудного плавания, и на лице инспектора такая радость, будто осуществилась наконец мечта его жизни — увидеть нас в этом порту. И трудно объяснить почему, но ждешь от инспектора еще чего-то. Он говорит, как бы извиняясь:

— Мы постараемся сделать ваше пребывание здесь приятным, но не все зависит от нас. Прошу ознакомить с этим экипаж, — и он вручает обращение полиции, отпечатанное на великолепной атласной бумаге.

Обращение начинается с фразы, набранной крупным шрифтом: «Добро пожаловать в наш порт и город!» Дальше идут вежливые слова, которые инспектор нам уже сказал раньше, и несколько пунктов:

«1. Когда уходите с судна, запирайте на замки все шкафы и двери.

2. В случае воровства или в других случаях, требующих вмешательства полиции, оставьте место преступления неприкосновенным и немедленно сообщите в морскую полицию по тел. № 3-42-32.

3. Остерегайтесь подозрительных личностей, и особенно женщин легкого поведения. В большинстве случаев они связаны со злоумышленниками».

В этом документе говорится далее, как поступить, если вас обсчитает шофер такси или произойдет иная неприятность. И создается впечатление, будто эти неприятности, малые и большие, ждут тебя на каждом шагу как только ступишь на берег. И начинаешь сомневаться, дей-

ствительно ли здесь повсюду только воры, бандиты и проститутки, и приходит мысль: так ли уж рада нашему приезду полиция?

Группа моряков окружила второго механика Виктора Книжко, который переводит с английского обращение полиции.

— Вот тебе и «добро пожаловать», — под общий смех резюмирует первый помощник капитана Анатолий Фомин.

В наших трюмах чугун. Двенадцать тысяч шестьсот тонн. Это больше четырех тысяч грузовых машин. Чугун разгрузят за три дня. Так сказал представитель концерна Сумитомо.

Я видел, как грузили чугун в Туапсе. Краны-пауки опускали свои широко растопыренные стальные щупальца, загребали под себя и захватывали в утробу до пятидесяти чушек и высыпали их в сварной лоток, стоящий рядом. Другие краны взвивали их в воздух и опрокидывали на дно трюмов. У причалов Сумитомо стояли такие же краны-пауки.

У самого борта толпилось человек сто пятьдесят, в большинстве женщины, в довольно странной одежде. На головах желтые каски, на ногах обувь, похожая на носки с одним пальцем.

Вскоре они поднялись на борт. Маленькими быстрыми шажками, словно пританцовывая, люди торопились в трюмы. Разгрузка началась.

На причале концерна Сумитомо безжизненно лежали могучие стальные щупальца «пауков». Маленькие японские женщины нагружали лотки вручную.

Расчет представителя концерна оказался точным. Разгрузка шла ровно трое суток. Трое суток с грохотом падали чугунные чушки в стальные лотки.

Судно не должно стоять ни одной лишней минуты. За каждую сэкономленную минуту концерн получит диспатч — премию от грузоотправителя. Премии хватит, чтобы покрыть расходы по разгрузке.

Бесконечно, безостановочно сто шестьдесят пар рук бросали в лотки чугун. Сто двадцать три тысячи чушек в сутки. Точно били автоматические тяжелые пушки: бух-бух-бух-бух-бух... Пять тысяч ударов в час. Не разгибались спины. Нельзя задерживать судно. Задержка — это лишние деньги. Сумитомо не платит лишнего. Сумитомо не платит даже того, что положено. Пусть будут благодарны за эту выгодную работу, что им досталась. За воротами много желающих. Теперь их будет еще больше.

Империя Ниппон проводит «улучшение структуры сельского хозяйства». Это разорит и сгонит с крошечных участков размером с рогожу двадцать три миллиона крестьян. Часть останется батрачить у кулаков, которые собирают их земли, а остальные пойдут к воротам Мицуи, Мицубиси, Сумитомо. Они ринулись в город. Пусть радуются те, кому досталась сегодня эта выгодная работа по разгрузке чугуна. За это дорого платят.

Рабочий день не должен превышать восьми часов. Но нельзя трижды в сутки ждать, пока будут меняться смены, пока будут вылезать из глубоких трюмов одни и спускаться туда другие. Да еще каждой смене устраивать обеденный перерыв. Нельзя сбивать темп. Надо работать по двенадцать часов. Сумитомо за это заплатит. Заплатит, как за полтора рабочих дня. Каждая женщина получит тысячу иен за смену. А мужчина — еще больше... Такие деньги не валяются. Тысяча иен — это полтора килограмма мяса. Самого лучшего, сочного мяса.

Я видел, как едят мясо японские грузчики. Все было очень хорошо организовано. За десять минут до начала перерыва на наше судно привезли обед для грузчиков: сто шестьдесят красивых жестяных коробочек. Мужчинам квадратные, женщинам овальные. По свистку из шести глубоких трюмов полезли люди. Они уселись на палубе в кружочки и открыли коробочки. В квадратных — рис и тушеное мясо. Тридцать граммов мяса. Оно отрезано красивым ломтиком без единой косточки. Резали не как попало, а очень разумно, поперек волокна. Толщина ломтика получилась даже больше, чем длина рисового зерна. Поэтому удобно есть. Нож не нужен. Грузчики берут сразу по нескольку волокон и заедают рисом. Они так умело это делают, что мяса вполне хватает на весь рис.

В овальных коробочках для женщин — рис и рыба. Пять рыбок, каждая размером с кильку. В поджаренном виде они совсем крошечные, но обмана здесь нет. Всем известно, что в процессе приготовления рыба много теряет и в весе, и в объеме.

Мы шли по палубе со старшим механиком и судовым врачом, когда нас окликнула японка.

— Сигалета, — попросила она, смущенно улыбаясь и жестом показывая, что хочет закурить. На вид ей было лет двадцать пять. Как она грузила чугун, трудно понять. Худенькая, маленькая, издали похожая на подростка. Ее звали Юрико.

Среди грузчиков оказался один, кто вполне прилично знал русский язык. Это был сосед Юрико, и он помог многое узнать. Девушка говорила о себе рассеянно, будто о другом человеке. Будто ей совершенно безразлична страшная трагедия ее жизни.

Юрико вспоминала счастливые детские годы, когда они всей семьей работали на своем участке земли на далекой окраине Токио, где кончается город и начинается овощной пояс.

Токио надо очень много овощей. Это выгодное дело — производить овощи. Вся семья во главе с отцом, и мать, и ее старшая сестра Кимико, выращивали помидоры.

Весной начиналась обработка грядок, и вся семья рыхлила вскопанную отцом землю. Рыхлили, меняя грабельки на все более маленькие, а последние комочки растирали пальцами, чтобы земля была мягкая и

пышная. Отец рассыпал по грядкам высушенный и истолченный в пыль птичий помет, и опять вся семья рыхлила и перемешивала землю, чтобы каждой ее клеточке досталась пылинка удобрения.

И потом, когда высаживали рассаду, и когда появлялись цветочки, и завязь, и плоды, отец не давал себе отдыха, а уж женщинам сам бог велел работать, если трудится глава семьи. Они выхаживали не каждый куст в отдельности, а каждый цвет и стебель. Они опрыскивали растения из маленького пульверизатора, и покрывали каждый цветок целлофаном и обвязывали ниткой, чтобы он был в прозрачной коробочке, которая не касалась бы лепестков, но предохраняла их от всяких букашек и ветра . Они заключали в целлофановые коробочки завязь, а потом и плод, и, перетягивая нитками целлофан, следили, чтобы не примять зеленый пушок на стеблях и оставить доступ воздуху, но не дать лазейку вредителям.

Так они работали, выращивая помидоры, и собирали богатый урожай. Когда кончались ранние сорта, поспевали более поздние и наконец осенние. И ни у кого не было таких изумительных помидоров, таких мясистых и больших, с такой нежной окраской и наверняка очень вкусных, потому что не могли они быть иными, эти сказочно красивые плоды, которые шли в лучшие рестораны на Гинзе и не разрезались на дольки, а подавались к столу целыми, как произведение искусства.

Каждое утро приезжал поставщик овощей в рестораны господин Томонага, осматривал приготовленные плоды, пересчитывал их и распоряжался, в какой из ресторанов везти. Конечно, отец мог бы и сам продавать их куда дороже, но один опрометчивый шаг — и теперь приходится горько расплачиваться. Только один раз, три года назад, он не мог погасить полученный от Томонага аванс, и этот долг стал расти из года в год, и уже никому, кроме Томонага, нельзя было продавать плоды. Да и цены он уже диктовал сам.

И все таки Юрико вспоминает о том времени, как о лучших своих годах. Кто мог подумать, что все это так внезапно кончится. Оказалось, что их дом вместе с огородом лежит как раз на той трассе, где началась прокладка шоссе на американский аэродром.

Нельзя сказать, что их бесцеремонно согнали с насиженного места. Им сполна заплатили наличными за участок и дом, получились немалые деньги. Вполне хватило отдать весь долг Томонага, и еще кое-что осталось.

Они стали переезжать с места на место, перебиваясь случайными заработками. В конце концов отцу удалось устроиться на постоянную работу истопником в прачечной. Заработка могло бы хватить на жизнь, но больше половины его съедала плата за комнату. Немыслимо дорого в Японии жилье.

Они недоедали каждый день. Обносились так, что стыдно было выйти

на улицу. Однажды, когда в доме уже не осталось ни одного зерна риса, а получки ждать еще десять дней, и продать было нечего, и негде было взять ни одной иены, отец сказал Кимико, что и она могла бы наконец подыскать себе работу.

Кимико молчала. Но слушать ей было обидно. И без того она готова идти на любую работу.

На следующий день Кимико вернулась домой рано утром. Она была какая-то странная. Очень спокойная и серьезная, будто вдруг стала старше. Молча столкнула с ног гэта, молча положила на маленький круглый столик деньги.

Все смотрели на нее и тоже молчали. Потом отец поднялся с циновки, медленно подошел к столику, взял деньги и уставился на них, будто впервые увидел стоиеновую бумажку. Он стоял и смотрел на деньги, и никто не мог понять, как он хочет ими распорядиться.

Отец задумчиво снял с очага чайник и аккуратно положил деньги в огонь. Маленькой кочергой, сделанной из проволоки, затолкал их поглубже, чтобы они сразу сгорели. Покончив с этим делом, повернулся к Кимико и грустно сказал: «За что ты меня так?»

В тот день они ели только отвар из кореньев, а на следующее утро Кимико принесла рис и рыбу. И отец уже не мог бросить это в огонь.

Теперь жить стало легче. Правда, Кимико не каждое утро приносила продукты. Бывало, по целым неделям она возвращалась без единой иены, но все же голодать они перестали. Конечно, будь у Кимико красивое платье, и дорогие белила для лица, и розовая краска для ушей и рук, она могла бы зарабатывать куда больше. Она могла бы, как другие девушки, приезжать на такси в порт, когда приходят американские корабли, и к ней в машину садился бы военный моряк, который хорошо платит. И хотя к приходу кораблей выстраиваются целые вереницы такси с девушками, все равно всех разбирают, потому что моряков много, и вообще военных американцев полным-полно, и все они щедро платят.

Но думать об этом ни к чему, потому что денег на наряды и краски у нее не было. И чем дальше, тем меньше можно было мечтать о деньгах. В последние месяцы Кимико приносила их совсем редко. Поэтому Юрико, когда ей исполнилось четырнадцать лет, пошла на эту улицу, полутемную улицу, где сдаются комнаты на час или на два. Она прохаживалась по тротуару, и перед ней неожиданно появилась Кимико и спросила: «Что ты здесь делаешь?»

Юрико не успела ответить, как старшая сестра ударила ее по лицу и, схватив за волосы, потащила домой. И всю дорогу, не стесняясь прохожих, она то и дело оборачивалась к Юрико и била ее, заливаясь слезами. Так безжалостна была старшая сестра, которая больше всего на свете любила свою маленькую Юрико и никогда даже пальцем ее не трогала.

Мы стояли возле четвертого трюма, в том месте, где у нас находится настольный теннис, и слушали Юрико. Она говорила, глядя на море, и казалось, ей безразлично, слушают ее или нет, потому что ни от кого она уже ничего не ждет, и сейчас можно жить, а можно и не жить, и ничего от этого не изменится ни для нее, ни для других.

С ракетками в руках к столу подошли наш чемпион настольного тенниса электрик Гриша Антоненко и котельный машинист Толя Панкратов.

— Пинг-понг, — щелкнула Юрико пальцами и побежала к трюму.

Снова поговорить с ней удалось в последний день выгрузки. Тем же безразличным тоном, как и прежде, она сказала, что спустя три дня после той злополучной встречи с сестрой Кимико умерла. Никто так и не узнал, отчего она умерла.

Как раз в это время отцу предложили новую работу. Они уехали с этого проклятого места и теперь живут хорошо. Отец работает в крупной рыболовной компании. Ему и группе рыбаков компания выдала вполне приличную джонку, снасти и отвела участок, где они могут ловить рыбу. Целыми днями они в море, а когда джонка становится полной, везут свой улов к берегу и сгружают в баржу. Они снова уходят в море, а другие рыбаки возвращаются. Сотни джонок загружают баржу, но наполнить ее невозможно, потому что круглые сутки работают насосы и по широким рукавам гонят рыбу в разделочные цехи завода.

Заработков отца вполне хватает, чтобы оплатить аренду джонки, снастей и выделенного для них участка моря. Кроме рыбы, которую компания бесплатно выдает ему для личного потребления, при хорошем улове остаются еще и деньги.

На новом месте повезло и Юрико. В первый же день она попала на причалы Сумитомо, ее взяли выгружать руду. Работала она хорошо, и теперь ее постоянно берут, когда приходят суда. Бывает, что работа есть почти пятнадцать дней в месяц. В такие удачные месяцы она сама оплачивает всю стоимость квартиры. Это как раз ее двухнедельный заработок, если работать по двенадцать часов в день. Квартира так дорого обходится потому, что теперь у них две комнаты. Конечно, можно бы жить и в одной, но тогда надо большую, метров двенадцать. У них теперь — одиннадцать, но зато две комнаты, а дороже это не намного.

Закончился второй перерыв последнего дня разгрузки, и Юрико полезла в трюм. На ней, как и на всех женщинах, темные легкие брюки, серая в цветочках блузка и желтая каска. На ногах мягкая обувь.

Чугун оставался только на дне трюма. Туда ведет отвесный трап из металлических прутьев высотой с четырехэтажный дом. Крепко цепляясь за прутья, Юрико спускается все ниже. Четыре стальных лотка уже внизу. Раздается свисток, и в ответ точно залпы, загрохотали чугунные чушки.

Каждый лоток нагружают шесть человек. Чушку берут двое. Девяносто три раза в час надо нагнуться, поднять два-два с половиной пуда и бросить в лоток. А за смену эту несложную операцию надо повторить тысячу пятьдесят раз. Тридцать шесть тысяч килограммов на двоих за смену.

В первые два дня было проще. Стой себе на одном месте и бросай чушки. А теперь это трудно. Чугун лежит на покатых переборках — в углах трюма, куда лоток не загонишь. Теперь на одном месте стоять не будешь. И лежат чушки не ровным штабелем, а точно вываленные из самосвала. Возьмешь одну — поползет десяток. Их не удержать, они раздавят ноги. Но и возиться с ними нельзя. Сумитомо ждать не будет.

В Одессе я видел, как на судне подбирали остатки чугуна. Маленький смешной бульдозер сгребал их к центру трюма, а «пауки» выносили наверх. И только два-три десятка чушек, зацепившихся за шпангоуты, выбирали руками.

Но здесь не Одесса. Здесь Сумитомо.

Юрико и ее напарнице теперь очень трудно. Они стараются брать чушки так, чтобы не задеть соседних. Подняв груз, надо сделать к лотку всего три — пять шагов. Но, должно быть, и это трудно. Чушка качает из стороны в сторону двух маленьких японских женщин. Подойдя к лотку, они не бросают груз, как раньше, а просто разжимают руки. При этом чугун трет пальцы, сдирает кожу. Но бросать уже нет сил.

Работать в брезентовых рукавицах нельзя: тонкие пальцы не удержат груз. На руках Юрико вязаные хлопчатобумажные перчатки. Они почти не предохраняют рук. Уже содранные пальцы в бинтах. Уже и бинты стерлись, пора бы снова перевязать, но надо грузить чугун. Надо бросать чушки. Нельзя сбиваться с темпа.

В первый день было куда легче. В первый день ни один человек не упал. В первый день две минуты сидя дожидались, пока поднимется и снова опустится лоток. Теперь на эти две минуты все ложатся. Падают на чугун в ту секунду, когда брошена в лоток последняя перед подъемом чушка.

И снова качает Юрико и ее напарницу. Но они улыбаются. Надо улыбаться, чтобы тот, кто стоит со свистком, видел: им совсем не тяжело. Просто смешно, что их качает. Надо улыбаться, чтобы и в следующий раз взяли на работу. Улыбаются все. Грузчик, которому раздавило палец на ноге, по привычке улыбался нашему судовому врачу, когда тот делал перевязку. Приходя в себя, терявшие сознание улыбались. Ужасно смешно потерять сознание, пусть это видит человек со свистком.

Здесь, на комсомольско-молодежном судне «Физик Вавилов», у причалов Сумитомо я видел улыбки, страшные, как смерть.

Ночью работают только мужчины. Ночной перерыв длится час. За несколько минут японские грузчики съедают свой ужин, а потом спят.

Я много раз видел, как спят очень усталые люди. Видел на вокзалах, на целине, на фронте. Но то, что было на палубе, ни с чем не сравнимо. Лежали трупы. Трупы, которым уже несколько дней. Уже обтянула скулы черная кожа, уже виден каждый сустав на пальцах. Лежали тела, будто пораженные током, скорченные, скрюченные. Они окаменели в том виде, в каком оказались, когда съели последнее зерно риса. Уже во сне они падали и застывали, одни в согнутом положении, другие — замирали с палочками в руках, третьих разбрасывало одним рывком, словно судорогой. А потом все затихло. Не слышно было даже дыхания. И вдруг раздался свисток. Людей подбрасывало. Вскочив на ноги, они улыбались. Нечеловеческая улыбка. Они улыбались: пусть видит человек со свистком — никакой усталости нет, как смешно, что они задремали.

...Из последних сил выбивалась Юрико. Маленькая Юрико, с маленькими тонкими руками. Мы смотрели, как шла разгрузка. Котловой машинист Гена Маценко, матрос первого класса Володя Алешин, атлетического телосложения механик Боря Пономарев. Мы не могли тебе помочь, Юрико. Не имели права даже выразить тебе сочувствие. Это вмешательство в чужие внутренние дела. Это внутренние дела Сумитомо. Это внутренние дела богини солнца Аматерасу, солнца, которое изображено на знамени империи Ниппон.

Прощай, Юрико. Мы видели, как ты поднималась из трюма, как, качаясь на прутьях, карабкалась на высоту четвертого этажа. Вслед за тобой совсем близко поднимался Толя Панкратов. Ему нечего было делать в трюме. Может, и полез он для того, чтобы поддержать тебя, если качнешься в последний раз.

Мы покидали порт Кокура в подавленном состоянии. Три дня мы наблюдали мир голого чистогана, растленный мир капитализма. На палубах, в каютах только и слышалось: «Почему они терпят?», «Почему молчат?»

Мы шли Симоносекским проливом. Гудели заводы Мицуи, Мицубиси, Сумитомо. А дальше снова были тихие озера, и эта мелодия — бесконечная, усталая, безысходная.

Прощай, Юрико. Прощай, маленькая печальная Юрико. У нас сегодня очень счастливый день. Сегодня поднялась в космос первая в мире женщина. Ей, как и тебе, двадцать шесть лет.

1963 г.

ТЮЛЬПАНЫ ПАЛАЧА



В Западной Германии я хотел побывать у одного человека. Я точно знал, что он в Штутгарте. А вот в справочнике, где даны адреса и телефоны всех жителей, его фамилии не оказалось. Значит, переехал в другой город. Но раз он жил здесь, должны же остаться какие-нибудь следы.

Роюсь в справочных книгах предыдущих лет. В одной из них, за 1966 год, нахожу наконец его старый адрес: Цуккербергштрассе, 125. Решил отправиться по этому адресу и расспросить соседей.

Огромный пятиэтажный корпус, тяжелый и мрачный, скорее черного, чем серого цвета. В этом доме он жил. К кому же обратиться?

Во многих странах, в том числе в Западной Германии, квартиры не имеют номеров. Только номер дома, вернее, номер подъезда. Он всегда заперт. У входа — щиток с фамилиями жильцов и кнопки звонков.

...Подъезд № 125. Пробегаю глазами по щитку — кому бы позвонить? И вдруг вижу: «Kosmovicz». Но ведь именно его я и ищу. Значит, никуда не уехал. Значит, понимает, что включать свою фамилию в справочник рискованно.

Нажимаю кнопку. Тихое жужжание зуммера, и дверь автоматически

отпирается. Медленно поднимаюсь по ступенькам. На каком-то этаже у своей двери кто-то встретит? Этот кто-то увидит меня раньше, чем я его. С лестничной площадки он будет смотреть вниз. Он уже сейчас смотрит. А мне идти, задрав голову, неловко.

Не знаю, кто меня встретит. Его дети, жена, если они у него есть, или сам убийца. Его я узнаю по тонким губам, искривленным справа, и длинному носу, похожему на клюв дятла. Мельком я его как-то видел. Мне сказали: «Вот один из главарей «антибольшевистского блока народов». В тот раз мне не интересно было на него смотреть. Я ничего о нем не знал. А к громким названиям, которые дает себе эта падаль, успел привыкнуть. Много их за рубежом — всяких «блоков», «союзов», «ассоциаций». И чтобы обязательно слово «народ» втиснуть. «Народно-трудовой союз», «Блок народов» и т. п. Они уже разработали уйму вариантов будущего устройства нашего государства. Десятилетиями разрабатывали. До сих пор разрабатывают. И прикидывают, кто какой пост займет. Кого поставить царем, кого — президентом, кого — губернаторами. Когда одни цари и президенты помирают, назначают других. Не без драки, конечно. Каждому ведь хочется поуправлять страной. У них там все подготовлено и расписано.

Чем занимается в своем «блоке» человек, к которому я иду, меня не очень интересует. Я знаю, чем Космович занимался раньше. В 1939 году, после освобождения Советской Армией Западной Белоруссии, он начал активно работать в самоуправлении города Несвиж, где родился и вырос.

Когда пришли немцы, они поставили его на должность начальника Минской окружной полиции. Должно быть, и раньше он работал на гестапо, потому что сразу, без солидной проверки, на такие посты не назначали. Видимо, договорился с ними, пока учился в Бельгии или во время шестилетнего штудирования наук на богословском факультете Белградского университета.

В Минскую полицию он пришел, можно сказать, на голое место. Когда его назначили, не было еще ни полицейских, ни самого этого учреждения. О том, что Космович очень старался угодить гестаповцам, рассказывали все, кто его знал в то время.

Его старания оценили. Вскоре Космовичу поручили организовать окружное полицейское управление в Брянске, а затем — в Смоленске и Могилеве.

Проследить путь Космовича по этим городам нетрудно, потому что повсюду за ним тянулся кровавый след. Этот след и привел меня на Цуккербергштрассе, 125.

Конечно, говорить с этим человеком мне не о чем. Просто хотелось посмотреть, как он живет, есть ли семья, не мучают ли его кошмары. И вообще посмотреть, как может жить на земле такой человек.

На площадке третьего этажа тревожно смотрит на меня дородная женщина. Это жена Космовича — дочь помещика, бежавшего в свое время из Западной Белоруссии. Об этом она рассказала позже, когда я вошел в квартиру. Здесь прежде всего бросилась в глаза цветная фотография, висевшая на стене: он и она. Точно так он выглядит на снимке, что был помещен в газете, лежащей у меня в кармане. Это так называемая «Белорусская газета» за 14 марта 1943 года, издававшаяся гитлеровцами на шероховатой оберточной бумаге. Портрет в обрамлении большой статьи о нем. Он снят в мундире, на котором красуются фашистские ордена. А на цветном снимке — ни мундира, ни орденов. Но фотография явно того времени. Значит, жена и тогда была с ним и знает обо всем, что произошло в Каспле. И содержание статьи знает. В частности, там говорится:

«Благодаря большой практике и инициативе Космович сразу же стал организовывать на Смоленщине корпус самообороны (так были названы полицейские карательные отряды — **А. С.**). Он сам стал во главе этого корпуса.

Однако начало было очень трудное».

Тут же объяснялось, почему трудное: партизаны «имели в своем составе регулярные подразделения, остатки военнопленных и местный элемент. Они имели уже свою тактику и опытных командиров. Космович вскоре со своим заместителем организовал крепкое ядро. Смоленская оборона из маленького подразделения разрослась в мощную организацию, которая имеет свои орудия, минометы, пулеметы и другое оружие.

Боевые начинания смоленской самообороны не забыты главным немецким командованием.

Недавно в Смоленске произошел большой праздник. Построенных около городской управы приветствовал генерал — командующий охранных войск. Он благодарил героев похода против общего врага — коммунизма. Поздравил их с наградой и затем пристегнул награжденным на грудь ордена «С мечами за отвагу» и выдал свидетельства. Первыми были награждены друг Дмитрий Космович и его заместитель, которых генерал особо благодарил за отвагу. Это первые два белоруса, получившие ордена «с мечами» за активную борьбу против большевизма».

Перепуганная моим приходом жена Космовича все поправляла на себе кофту, отвечала невпопад, путалась, одни ее слова противоречили другим, и никак нельзя было понять, где ее муж. То ли поздно вернется сегодня, то ли уехал куда-то и будет через день или через неделю, то ли сидит в соседней комнате, на дверь которой она тревожно поглядывала.

Она не может скрыть страх. Громко зовет свою дочь Женю и говорит: «Bleib hier» — «Будь здесь». Ее страх понятен. Передался от мужа.

Чем больше убивал, тем сильнее охватывал страх. Чтобы подавить это чувство, снова стрелял. В стариков, женщин, детей.

Летом сорок второго года на шоссе Касплю — Смоленск была подорвана машина немецкого военного коменданта. К месту происшествия немедленно бросился Космович. О том, что происходило дальше, рассказали его подручные на судебном процессе в Смоленске. Дали свои свидетельские показания и местные жители.

Первым помощником Космовича был Сергей Сетькин. В 1941 году, оставшись на оккупированной территории, он добровольно пошел в услужение гитлеровцам. Усердие было оценено, и его назначили старостой деревни Бакшеево, а затем — начальником волостной полиции. Сначала он только выслеживал патриотов. Осенью сорок первого года в доме Пелагеи Беляевой арестовал бежавших из фашистского лагеря Дмитрия Рыбакова и Арсения Антипова и передал их в руки гитлеровцам, затем в доме Скорлупкиной выследил партизана Николая Парфенова и тоже отконвоировал его к немцам. 8 ноября 1941 года арестовал коммунистку Екатерину Ушакову, которая была тут же расстреляна.

Сетькин, поощряемый гитлеровцами, развернулся во всю ширь. Будучи местным жителем, хорошо зная окрестность и близлежащие деревни, он организовывал облавы, устраивал засады, вылавливал, расстреливал, вешал патриотов.

В ноябре 1941 года Сетькин переходит на службу в гестапо. Главное задание, которое он получил, — выявлять коммунистов, комсомольцев и евреев. В короткий срок составил список на сто пятьдесят человек, которые впоследствии были арестованы и расстреляны при его активнейшем участии. Но об этом речь пойдет ниже.

Второй подручный Космовича — Иван Чуранов. В 1939 году был призван в Советскую Армию и проходил службу на Дальнем Востоке. Когда началась война, его дивизию перебросили на запад — сначала на Ленинградский фронт, затем под Витебск. Здесь, в районе Витебска, он и был взят в плен. Несколько раз бежал, но каждый раз снова попадал к немцам. В 1942 году оказался в Касписе, где дал согласие служить в полиции. Чем он там занимался, рассказали на суде колхозники и сам Чуранов.

Колхозник Николай Матыченков: «В сентябре 1942 года в деревню Матыки Касплянского района пришли полицейские и переселили всех в деревню Озерище. В Матыках оставался неубранный урожай картофеля и овощей. Нас ежедневно под охраной полицейских водили в нашу деревню убирать урожай. Охраняли нас для того, чтобы мы не могли связаться с партизанами.

5 октября партизаны обстреляли полицейских. Один из них был ранен. Тогда всех людей, которые пришли на работу, повели обратно в Озерище. Их подогнали к пожарной вышке. К этой же вышке пригнали

остальных жителей деревни Матыки, а также жителей деревень Озерище и Зубари. Затем полицейские стали из собранной толпы отделять семьи партизан. Когда дошла очередь до моего отца Данилы Илларионовича Матыченкова, староста велел ему выходить из толпы и становиться в группу, где стояли семьи партизан.

Отец не выходил. Сказал, что у него в семье нет никого в партизанах. Тогда староста заявил, что у моего отца дочь в партизанском отряде. Один полицейский ударил отца прикладом винтовки в спину. Затем полицейский Чуранов Иван, который тоже был здесь и сидел на лошади, выстрелом из винтовки убил моего отца.

Я это хорошо видел, так как стоял рядом с отцом. Когда отец упал, я заплакал. Чуранова я хорошо запомнил. Вот он сидит на скамье подсудимых.

После того, как Чуранов убил моего отца, нас всех повезли в деревню Новосельцы и там заперли в амбар».

Пенсионерка-колхозница Федосья Солдатенкова: «Народа в амбаре было много. Нам нечем было дышать, люди просто задыхались. По одному стали вытаскивать людей из амбара на допрос. Допрашивали на улице, при этом жестоко избивали. Один полицай сидел с гармошкой и играл, чтобы не было слышно криков допрашиваемых. Били очень сильно. Я видела у многих людей кровь и синяки на лице. Меня вызвали на допрос на следующий день после ареста. Когда меня завели в хату напротив амбара, я увидела Ивана Чуранова. Меня стали спрашивать о моем муже, который в то время был в партизанском отряде. Потом Чуранов приказал мне снять одежду и лечь на пол лицом вниз. Я выполнила его приказ. Тогда они начали меня бить. Иван Чуранов бил меня солдатским ремнем, бил пряжкой этого ремня по голове. Били приблизительно час. Все тело покрылось синяками. Я почти потеряла сознание. С того времени не слышу на одно ухо. Многих членов партизанских семей они избивали таким же образом».

Чуранов: «Осенью 1942 года, примерно в сентябре, я и другие полицейские охраняли от партизан жителей деревни Матыки Касплянского района, которые убирали урожай. Однажды днем мы услышали в соседней деревне Озерище стрельбу. Партизаны во время перестрелки ранили полицейского. Наш командир приказал собрать всех жителей деревни Озерище и стал требовать, чтобы семьи, члены которых ушли в партизаны, выходили из общей толпы и вставали в сторону.

Один старик, фамилию его я узнал потом, Матыченков Данил, не хотел выходить из толпы и вставать в сторону, где стояли уже члены семей партизан. Его уж и вытаскивали из толпы, и толкали, но он не выходил. Тогда начальник приказал мне стрелять в этого старика.

Я выстрелил в него. Матыченков упал. Всех остальных людей мы повели в деревню Новосельцы. Тех людей, которые не хотели говорить,

где находятся партизаны, мы били. Помню, что я бил Матыченкову и еще одну женщину. Сам бы я по своей инициативе ни за что бы их не бил. Но мне приказал это делать начальник».

О событиях в Касплe Сетькин показал: «В феврале 1942 года я работал начальником Воробьевской полиции, и в этом же феврале партизанами была разгромлена созданная нами волость, то есть уничтожены все как волостные документы, так и мои со списками полиции. Почти одновременно был убит подчиненный мне полицейский. Разыскивали они и меня, но я сбежал к немцам в село Касплю и доложил об этом военному коменданту. Вскоре я был поставлен немцами начальником Касплянской районной полиции и начал выявлять коммунистов и евреев.

Один экземпляр подготовленного нами списка я оставил себе, второй отдал начальнику района, а третий — представителю немецкого гестапо.

В конце июня 1942 года в село Каспля на легковой машине приехал начальник областной полиции Космович. Он пригласил меня и начальника района и предложил в селе Каспля переписать дома, где проживают коммунисты и евреи, занесенные в список. На следующий день я взял с собой полицейского и на велосипедах мы проехали по улицам села и выполнили задание. Вечером 29 июня Космович велел мне снова явиться к нему, взяв с собой двух грамотных полицейских. Втроем мы зашли в кабинет Космовича. Космович предложил мне собрать всех коммунистов и евреев, указанных в списке и проживающих как в селе Каспля, так и по Касплянскому району.

30 июня 1942 года на рассвете я поднял всех находившихся в моем подчинении полицейских, проживающих на казарменном положении, за исключением караула. Выстроил их, разбил на группы и поставил перед каждой группой задачу, где, кого арестовывать и куда доставлять».

Чуранов: «Все полицейские были подняты по боевой тревоге. Когда нас построили возле здания бывшей больницы, многие указывали на Космовича и говорили, что вот приехал сам Космович. По его указанию Сетькин разбил всех полицейских на группы».

Полицейский Алексей Жигалев: «Перед нами Космович поставил задачу, чтобы никто из арестованных не сбежал. Он еще заявил, что всех, кто будет помогать партизанам, постигнет такая же участь».

Свидетель Анисья Памазкина: «Рано утром 30 июня к нам в дом ворвались полицейские Морозов и Сетькин. Они арестовали мою дочь и увели ее».

Свидетель Прокофий Майоров: «К нам в дом пришли полицейские и арестовали мою невестку Елену. Они забрали ее вместе с семимесячным ребенком».

Свидетельница Матрена Исайченкова: «30 июня рано утром к нам в дом пришли и арестовали моего мужа. Ему не дали проститься ни со

мной, ни с детьми. До войны мой муж был директором Каспляянской средней школы».

Свидетельница Мария Петрушкина: «30 июня утром к нам ворвались полицейские. Они оцепили дом, загнали на печку малолетних детей и арестовали моего брата и его жену. Мне тогда было восемнадцать лет. У меня на руках остались трое их детей».

Сетькин: «Мною лично были арестованы следующие коммунисты: Зарянкин Ефим, Перебокий Иван, Исайченков Михаил, Сысоенков Василий, Сысоенкова Мария и Сошнева Анна. Днем я ходил арестовывать две еврейские семьи. В двух домах мы забрали двух женщин и троих детей.

Всех арестованных мы привели в дома бывшей больницы, где сначала зарегистрировали, а потом взяли под охрану. Всего я сам и мои подчиненные арестовали по заранее составленному списку более 150 человек».

Дальше дает показания еще один подручный Космовича Петр Васильев. Будучи военнослужащим Советской Армии, он в июле 1941 года добровольно перешел на сторону противника. Весной 1944 года бежал в Германию, где являлся командиром взвода немецкого рабочего батальона. В мае 1945 года в американской зоне оккупации Германии был завербован представителем разведорганов США для проведения шпионской деятельности в СССР и передан советскому командованию. В качестве американского шпиона он и вернулся на родину. Арестовали его в 1951 году на Южно-Уральской железной дороге.

О расстреле в Касплє он показал: «Я был назначен начальником караула для охраны советских граждан, которых арестовывали другие. В моем подчинении было 12 человек вооруженных полицейских.

На пост для охраны арестованных я выставлял по четыре человека, которых сменял через каждые 4 часа.

При смене постов я предупреждал полицейских, чтобы они никого не выпускали из числа арестованных, а в случае, если кто попытается бежать, расстреливать на месте.

Полицейские, свободные от дежурства, и я находились в эти дни в казарме, расположенной рядом с районной больницей. Родственникам арестованных говорили, что заключенных будут отправлять для работы в Германию.

Аресты партийно-советского актива продолжались трое суток.

В числе арестованных имелись также старики. Три женщины, я помню это хорошо, были с грудными детьми.

Первого июля, часа в два дня в Касплю из Смоленска приехал немецкий карательный отряд численностью около сорока человек, который возглавлял немецкий полковник.

Отряд выставил свои посты вокруг помещения бывшей больницы. Заместитель начальника Касплянской жандармерии фельдфебель дал мне

указание выставить посты на окраине села Каспля-вторая, на разветвлении Каспля — Смоленск — Язвище — Полковая, чтобы не допустить возможного движения по этим дорогам.

Он приказал мне любого, кто появится из села Каспля, расстреливать. Я вывел своих людей и расставил в указанном месте».

Сеткин: «Ко мне подошел немецкий офицер и попросил список арестованных. Просмотрев его, предложил выводить женщин с детьми во двор больничных домов, где уже был усиленный конвой. Во дворе их построили в колонну по четыре человека. Женщины, имевшие грудных детей, несли их на руках, а подростков вели за руки».

Свидетельница Евгения Гнатенкова: «Примерно часа в четыре арестованных повели к Кукиной горе. Многие из них не хотели идти на смерть. Их толкали вперед прикладами винтовок, били палками».

Свидетельница Анисья Памазкина: «Я поняла, что их ведут на расстрел. В первой колонне были женщины и дети. Женщины кричали, плакали, рвали на себе волосы. Конвоиры плотным кольцом окружали арестованных. Я бросилась к арестованным и увидела свою дочь. Окликнула ее, она обернулась и закричала: «Мама, спаси меня!». В это время конвоир ударил ее прикладом винтовки. Я потеряла сознание».

Чуранов: «Когда мы привели этих людей за Кукину гору, я увидел там большую яму. Нас поставили в оцепление. Отдельной группой и несколько в стороне стояли Космович, Сеткин и несколько немецких офицеров. Космович прибыл туда на легковой машине. Он дал распоряжение начинать. После этого Сеткин подал команду раздеваться».

Полицейский Василий Дворников: «Началась паника. Раздались вопли женщин и детей».

Полицейский Филипп Косенко: «Наш начальник Сеткин кричал нам: «Ну, что развесили губы, стреляйте!»

Чуранов: «После этого немецкие жандармы и полицейские отделили человек десять и столько же примерно конвоиров, повели их к яме. Полицейские и немцы заставляли арестованных снять верхнюю одежду и с близкого расстояния расстреливали. Расстреляв первую группу, вернулись в оцепление, и в то же время другие полицейские и немцы вели к яме другую группу арестованных. Это продолжалось до тех пор, пока всех не расстреляли. После расстрела первой партии приконвоировали сюда остальных. Во второй партии было не менее пятидесяти человек».

Косенков: «Людей мы остановили недалеко от ямы, а затем по 10—15 человек подводили к этой яме и заставляли раздеваться. Затем мы отходили метров на 15—20 и расстреливали их. Сзади нас стояли немцы, чтобы мы сами не убежали».

Сеткин: «Арестованных подводили лицом к яме и стреляли им в спину, после чего они самопроизвольно падали в яму».

Дворников: «Расстрелом командовали Космович и Сетькин. Организованности никакой не было. Людей хватали, тащили к яме и расстреливали. Я видел, как Космович бросил в яму девочку лет четырех и выстрелил в нее».

Чуранов: «Я лично видел, что в процессе всего расстрела Космович, находясь на месте расстрела, наблюдал за его ходом, руководил им и из своего оружия вместе с другими карателями стрелял в арестованных».

Жигалев: «С четырех сторон окружали место расстрела пулеметы. За пулеметами были как полицейские, так и немцы. Из этих пулеметов в обреченных не стреляли. Они лишь охраняли место расстрела от партизан».

Чуранов: «После того как всех расстреляли, немцы заставили нас эту яму закапывать. Я лично закапывал эту яму с трупами. После того как мы закопали яму, немцы стали стрелять из автоматов в землю, так как земля шевелилась. По-видимому, мы закапывали еще живых людей».

Сетькин: «Одежду, которую сняли перед расстрелом с подлежащих расстрелу людей, частью забрал себе Космович, частью начальник района, а остальную одежду погрузили на автомашину и свезли на склад в село Каспля. Фуражку расстрелянного Исайченкова я забрал себе и носил ее некоторое время, пока жена Исайченкова не увидела и не сказала, что это фуражка ее расстрелянного мужа».

Здесь я должен сделать некоторые уточнения, хотя общая картина нарисована правильно. Сетькин утверждает, будто все «самопроизвольно падали в яму». Однако следствие по делу да и показания самого Сетькина свидетельствуют, что многие пытались бежать, но их догоняли пули. Потом трупы подтаскивали к яме и сбрасывали в нее. Кроме того, столкнули в яму нескольких ребят. Дело в том, что стреляли людям в спины и затылки, а маленькие дети оставались невредимыми из-за своего роста. Поэтому приходилось их сталкивать, а потом уже стрелять вслед.

Как показывают многие участники расстрела, мужчин раздевали догола, а женщинам приказывали оставаться в белье. Но и этот приказ выполнили не все. Выше приведены показания пенсионерки Анисьи Помазкиной о том, как была арестована и конвоирована на расстрел ее девятнадцатилетняя дочь Дуся. Полицейский Морозов, который вместе с Сетькиным приходил за ней, по свидетельству многих жителей Каспли, симпатизировал этой девушке и очень убивался, когда ее не стало. Об этом со слезами на глазах он говорил односельчанам, в том числе Анисье Помазкиной. Вот что она рассказала:

«Вечером этого же дня ко мне пришел Морозов. Он принес с собой бутылку водки. Пил водку и рассказывал, как они расстреливали людей за Кукиной горой. Он мне сказал, что дочь не хотела сама раздеваться, а крикнула: «Когда расстреляете, тогда и раздевайте». Потом он мне

сказал, что обреченные перед смертью пели «Катюшу». Морозов принес мне платок моей дочери».

Больше ничего не могла сказать старая женщина, потому что захлебнулась в слезах, вспоминая события 28-летней давности.

Кроме Дуси, еще многие не хотели раздеваться. И не желали, чтобы им стреляли в спины. Они поворачивались лицом к направленным на них черным глазкам автоматов и пели. В пение врывались команды Космовича, торопившегося скорее покончить с этим делом.

И еще одно уточнение. Не верно, будто при расстреле «никакой организованности не было». Организованности не было только среди полицейских. Эсэсовцы же, по свидетельству очевидцев, не суетились и не кричали. Они стояли плотными шеренгами, в два ряда, организованно и дружно били залпами точно по цели.

«Вот, — заключил Сетькин, — таким путем и произошел массовый расстрел коммунистов и других советских граждан 1 июля 1942 года за Кукиной горой».

В тот день были расстреляны:

Мартыненкова Татьяна — 25 лет, Сидорова Мария — 49 лет, Помазкина Евдокия — 19 лет, Кулинчиков Федор — 70 лет, Сашнева Анна — 20 лет, Исайченков Михаил — 43 лет, Соенская Александра — 20 лет, Ципин Виктор — 3 лет, Терентьев Борис — 70 лет, Морозов Валентин — 7 месяцев, Утенков Иван — 29 лет, Зубарев Лев — 3 лет, Милюкина Галина — 3 лет, Крапивнер Софья с тремя детьми от 3 до 9 лет и другие. Всего 157 человек. И это лишь в одном селе.

Орден же Космович получил не только за Касплянскую операцию, а по совокупности его деятельности на Смоленщине. Такими же методами он осуществил расстрелы во многих районах области.

Из акта, составленного 17 декабря 1943 года и хранящегося в государственном архиве, видно, что под руководством Космовича 10 сентября 1942 года в деревнях Залекино и Смолино было расстреляно 135 человек, в Потемкиной пустыне — 50 человек, в Зарубенке — 39 человек и т. д., а всего в деревнях Смоленщины — 988 человек.

Вот это и есть цена, которую заплатил Космович за свой первый фашистский орден — жизнь почти тысячи советских людей. А ведь получил он не один орден. И следующие его награды стоили белорусскому народу такой же крови.

Я сижу в квартире Космовича, смотрю на его жену и дочь, на цветы и икону. Скоро из университета придет его сын. Должно быть, скоро появится и сам Космович.

На вопрос, о чем хотел говорить с мужем, я не знал, что ответить. Не говорить. Только посмотреть. Посмотреть на его лицо и руки. Не могут же они быть такими, как у всех людей.

Неожиданно и совсем не к месту хозяйка сообщила, что муж любит цветы. И детей любит. Своего сына и свою дочь. Я понимаю, почему она так говорит. Будто ей вовсе не страшно, будто она совсем спокойна. Вот даже о цветах готова поболтать.

— Да-да, папа отшень льюбит цветы, —подтвердила Женя.

Я и сам заметил, что он любитель цветов. Заметил, когда поднимался в его квартиру. Путь к ней увит цветами. В аккуратных горшочках подвешены они на стенах лестничных маршей, лестничной площадки и тянутся до его двери. Они окружают вас в прихожей, в большой гостиной.

Палач любит детей и цветы. Пусть каждый видит: он трогательно ухаживает за цветами. Когда люди идут на работу, он появляется на лестничной площадке с пластмассовым ведерком и пластмассовой леечкой. Он поливает цветы и любуется нежными лепестками. Пусть видят: тот, кто выращивает цветы, не способен обидеть даже насекомое.

Об этом я как будто уже слышал. Кажется, на Нюрнбергском процессе об этом говорили. Ведь очень любил цветы Геринг. А детей обожал Геббельс...

В окно светит солнце. Я смотрю на цветы. Их багровые блики отражаются в иконе. Видимо, нежные растения ни о чем не напоминали дочери палача. Жене всего девятнадцать. Дусе Помазкиной было тоже девятнадцать.

«Когда расстреляете, тогда и раздевайте...» Ничего про это Женя не знает, и алые цветы не напоминают ей о крови.

Но он не может не видеть в багровых отблесках иконы кровь. Она возбуждает его, будоражит, напоминает о днях кровавой власти над людьми.

— Главное для него — борьба, — говорит дочь помещика. — Он еще отомстит за Бендеру. Это был наш лучший друг. Он всегда носил с собой спринцовку, которая могла дать сильную струю яда. Не успел достать ее. Они прижали его на лестнице собственной квартиры. Нет! — неожиданно повысила она голос. — Моего мужа так не возьмешь...

То ли пугала, чтобы я не совершил покушения, когда он вдруг появится, то ли хвасталась предусмотрительностью палача, ожидающего расплаты, хотя он, как и многие военные преступники, пользуется покровительством.

Но где же расплата? Подручные Космовича получили по заслугам. Ну, а он?

За несколько дней до посещения квартиры Космовича в ресторане «Цецилиенгое» близ Бонна у меня была двухчасовая встреча с министром внутренних дел ФРГ Ганс-Дитрихом Геншером. Он вместе с сотрудником отдела печати МВД ФРГ Шмюллингом нашел возможность ответить на вопросы, связанные с подготовкой материалов для книги, над

которой я работаю. В заключение министр заявил, что правительство ФРГ и он лично, как министр внутренних дел, принимают меры к тому, чтобы убрать помехи на пути к улучшению отношений с нашей страной.

Нам хорошо известно, что в Западной Германии гнездится множество различных антисоветских организаций эмигрантского толка, состоящих из военных преступников и предателей родины вроде Космовича, из организаций, только для того и созданных, чтобы вести враждебную нашей стране деятельность. Господин Геншер, очевидно, знает, что именно его министерство дает им право на существование.

Я знаю антисоветскую организацию, состоящую из трех человек: он, она и теща. Не на много больше членов и в пресловутом «антибольшевистском блоке народов». Так, казалось бы, стоит ли обращать на эту мелочь внимание? Пусть тешатся.

Это, конечно, верно. Сделать они ничего не могут. Но почему советский музыкант Юлий Реентович, находясь в ФРГ, должен терпеть эмигрантский гнус, жужжащий вокруг него? Почему советский писатель Михаил Алексеев, приглашенный в эту страну, должен был то и дело отмахиваться от подобного гнуса? Почему на моих глазах за кулисы театра в Висбадене, где давал гастроли один из ленинградских театров, во все щели ползла антисоветская нечисть? Они подсовывали листовки с клеветой на нас, выкрикивали оскорбления, лезли с грязными плакатами.

В обиходе «советологов» есть термин «барраж», что означает комплекс мероприятий, призванных переключить внимание общественности с одного события на другое. Так вот, для такого барража, в частности, откармливается всяческая нечисть в ФРГ. Как только затевается очередная провокация империалистических кругов, «блоки» получают приказ. И собираются отпетые, и появляются кричащие заголовки в реакционных газетах: «Международный конгресс антибольшевистского блока народов», «Обращение в ООН» и т. д.

Все подобные «блоки» состоят на службе американской, английской, западногерманской и других разведок. Вот, например, документ об эмигрантско-антисоветском НТС («Народно-трудовой союз»), втиснувшем в свое название слово «народный». Учредители и содержатели этой организации — английская и американская разведки — присвоили ей название «Шрапнель». И вот BIG-51, то есть главный резидент английской разведки СИС в ФРГ, пишет BHD-59, своему коллеге во Франкфурте-на-Майне: «Мы не поддерживаем, повторяю, не поддерживаем «Шрапнель» в качестве политической организации. Наш интерес к «Шрапнели» чисто профессиональный — использовать разведывательные, контрразведывательные и потенциальные возможности и получить невозвращенцев. За последние 6 месяцев мы и отдельно американцы вкладывали в «Шрапнель» ежемесячно в среднем по 13 тысяч немецких марок. За все

эти деньги мы фактически совершенно не имеем разведывательных данных...

«Шрапнель» утверждает, что мы не можем приказывать им, как простым шпионам. Но нет какого-либо основания платить им только потому, что они о себе так много мнят. Деньги мы должны платить только за разведывательные сведения, и ни за что больше».

ЦРУ не разделяло этой точки зрения и считало, что платить надо за всякую антисоветскую акцию, будь то пропагандистская, провокационная, шпионская или любая другая, лишь бы направленная против СССР.

С определенного момента английская разведка прекратила финансирование НТС, а американская разведка полностью взяла на себя ее содержание. Так эта самая НТС, точно инвентарь, была передана из одних рук в другие, ей лишь объявили о новом хозяине.

Таким образом, на территории Западной Германии разрешена деятельность платных агентов иностранных разведок, действующих против Советского Союза и других социалистических государств.

Возьмем того же военного преступника Космовича. Он живет в так называемой социальной квартире. В ФРГ редко услышишь вопрос: «Сколько ты зарабатываешь?» Говорят: «Сколько получаешь нетто?», ибо велики налоги. Но нетто — еще тоже не «нетто». До сорока процентов от него надо отдать за квартиру. Именно квартира поедает значительную часть бюджета каждой семьи. Так вот социальная квартира вдвое дешевле обычной. И получить ее совсем не просто.

Я был во многих социальных квартирах немецких рабочих и служащих. Подтверждаю, они точно описаны в журнале «Штерн» № 23 за 1969 год. «Когда женщина стоит у плиты, дверь упирается ей в спину. Через балконную дверь не пролезет ни одна детская коляска. Стиральные машины в таких квартирах устанавливать запрещают».

Космович живет в социальной квартире, ничего общего с подобными не имеющей. У него большая, отличная квартира. Но дешевая. За что же такая привилегия? Почему, во-первых, ему предоставлена социальная квартира и почему, во-вторых, такая богатая? Может быть, за то, что он убивал мирных советских людей, что на его мундире фашистские ордена? Или за то, что сегодня он член ЦК какого-то антисоветского «блока»? Как это понять? Какие официальные органы ФРГ могут объяснить это?

Дело, естественно, не только в Космовиче. Речь о том, что подобные блага в Западной Германии предоставляют многим из тех, кто тщится выступать против нас.

В Бад-Гамбурге живет некий Н. Муштаков. Сын крупного помещика — царского генерала, не успев закончить кадетский корпус, взялся за оружие, чтобы воевать против молодой Советской республики. Тиф помешал ему удрать за границу с остатками белой армии. Двадцать пять лет ждал он гибели Советской власти и в сорок третьем году снова

взял оружие и надел военную форму, на этот раз гитлеровскую. Воевал против партизан в Белоруссии, стрелял в женщин и детей. Живя после войны на территории ФРГ, он писал листовки с клеветой на советский народ и переправлял их в ГДР и другие страны. В Бад-Гамбургской диверсионной школе он преподавал «конспирацию» и помогал агентам ЦРУ забрасывать в нашу страну диверсантов. Теперь он вышел на пенсию.

За что же западногерманское государство платит ему пенсию? За то, что он на нашей территории ждал нашей гибели? За то, что стрелял в советских людей? Вроде, неловко федеральным властям платить за это пенсию. Значит, остается единственное: платят за антисоветскую деятельность в пользу ЦРУ и других иностранных разведок, которую он вел на территории Западной Германии после войны.

И опять-таки, дело не в Муштакове.

На пенсии и льготы военным преступникам, платным агентам иностранных разведок — предателям родины из стран социалистического лагеря расходуются миллионы и миллионы марок. Во имя чего это делается?

Я вижу только один ответ. Для того, чтобы усерднее работали те из них, кто еще не достиг пенсионного возраста. Чтобы создать для них постоянно действующий стимул, поощрить в их грязных антисоветских делах.

Существование на территории ФРГ эмигрантско-антисоветских организаций, их сборища, печатная и радиоклевета, рождающиеся на земле ФРГ, являют собой вопиющее нарушение Потсдамских соглашений.

Эти организации — детище откровенно реваншистских режимов — от Аденауэра до Кизингера. Но ведь нынешние руководители государства говорят о желании улучшить отношения с нами. Пора от слов перейти к делу. Не могут, не должны, не имеют права свободно ходить по земле космовичи! Палач должен понести наказание за свои злодеяния.

К этому взывает кровь семидесятилетнего Бориса Терентьева, семимесячного Вали Морозова, перехваченное дыхание заживо погребенных!

1970 г.

МНЕ Б ТОЛЬКО РЕЧКУ ПЕРЕПЛЫТЬ



Поездка в Бонн началась для меня неприятностью. Двухместное купе в вагоне «Москва — Париж», где мне надлежало ехать, было превращено в багажное. Три кофра, швейная машина, чемоданы, баулы, тюки занимали все купе, высились до уровня верхней полки. Свободным оставался уголок у оконного столика, куда и втиснулась неопределенного возраста женщина с маленьким лицом, похожая на мышь. Остренький подбородочек, острые ушки, острый нос и очень мало жиденьких волос, как хвостик.

Владелица багажа повернула голову, хвостик шевельнулся и скрылся, и я увидел остренькие глазки.

Лицо ее выражало готовность дать отпор. Женщина не испытывала неловкости, а значит, винить ее не имело смысла. Надо было искать путь к мирному сосуществованию, ибо ехать предстояло тридцать шесть часов, а места не было, хотя, согласно купленному билету, нижняя полка принадлежала мне. Я робко, может быть, даже несколько заискивающе поздоровался.

Это был мой просчет. Увидев, что противник сдался без боя, она ответила не сразу, возможно, прикидывая, нет ли здесь подвоха, или со-

ображая, как вести себя дальше. Ее ответ звучал не «драсте», хотя именно это слово она произнесла, а нечто вроде снисходительного: «То-то же, смотри у меня!»

Поскольку и это снес, она потеряла ко мне интерес и отвернулась к окну.

Я пошел к проводнику просить место в другом купе. Вежливый, предупредительный, он с досадой развел руками:

— Я уж и связываться с ней не хочу. В прошлом году ездила вот так же, а теперь опять... Во время войны вышла замуж в лагере за полицая, потом обосновались в Бельгии. Он боится сюда нос показать, а она ездит к своим и его родственникам, скарб перетаскивает, чтобы ничего не осталось. Подождите немного, пересажу вас, одно местечко есть.

В соседнем купе ехала Оля, девушка лет девятнадцати, монтер с какого-то завода. Она нервничала, убедительно доказывая, как спокойно себя чувствует, ибо волноваться ей абсолютно не из-за чего и о нем она даже думать не хочет. Правда, парень он положительный, ударник коммунистического труда, но гордый. Перед самым призывом в армию они и поссорились из-за его гордости. Так и уехал, не попрощавшись. А потом прислал ребятам письмо. Оказывается, где-то под Берлином служит. Вместе с Лёней с их же завода. Написал — через полгода в отпуск приедет, хочет проверить, как там без него живут.

Она и не думала ему писать. Раз он свой характер выказывает, и она не будет унижаться. Послала письмо Лёне. Просто так, без значения. Интересно же знать, как живут за границей. Вот и просила сообщить ей об этом. О себе для приличия написала. Много работает, а вечерами учится, даже в кино некогда ходить. А если и ходит, то только с девчонками.

Это Лёне написала. А о нем и не спросила. Чего это ради она должна унижаться первой! Леня ответил и про него написал, его все уважают и он — отличник боевой и политической подготовки... Это и так ясно, он и на заводе таким был. Но, надо же, привета и то не передал. И армия его не перевоспитала.

Ей было интересно, как там живут, за рубежом, и она стала копить деньги на туристскую путевку. А то все ездят, а она еще ни разу нигде не была. Путевку дали со скидкой, но все равно деньги большие, и на них можно было много всего купить. Зато с Берлином ознакомится, где водружали знамя победы над рейхстагом, все достопримечательные места, музеи или что там у них еще есть посмотрит. Пригороды, наверно, красивые...

Брестский вокзал с обеих сторон обтекают пути. По одну сторону от него расстояние между рельсами, как и по всей нашей стране, 1524 миллиметра, а по другую — 1435. Здесь нам стоять около двух часов. Поезд

загонят в парк, поднимут вагоны домкратами и заменят тележки. Потом состав подадут на другую сторону вокзала. Следующая остановка уже на польской земле.

Пока готовился поезд, мы ездили смотреть Брестскую крепость. Когда вернулись, увидели на перроне мою бывшую соседку по купе со всеми ее вещами. Рядом стоял человек в форме таможенника. Проводник радостно говорил:

— Вот стерва, тюки для видимости возила, золото у нее нашли. В тряпках оказалось...

— А у меня ничего не проверяли, — с сожалением сказала Оля.

— Да ни у кого не проверяли, — заметил стоявший рядом пассажир. — Они знают, где искать.

— И что же теперь с ней будет?

— А ничего не будет, — улыбнулся проводник. — Золото отберут, и пусть везет барахло в свою Бельгию...

Перед Берлином я подошел к Оле, стоявшей в коридоре у окна.

— Написала Лене, что приеду с этим поездом, и вагон указала... А может, вообще не встретят... Ну и не надо. Не к ним же я в гости еду... Если не встретят, разве найдешь? Только номер воинской части...

Губы ее подрагивали, вот-вот расплачется. Задолго до остановки взяла свой чемоданчик и пошла в тамбур.

Поезд еще двигался вдоль перрона, когда мы увидели солдата. Он бежал, улыбаясь, махал рукой Оле.

Мне очень хотелось узнать, «он» это или Леня. Когда удалось выбраться из вагона, на перроне их уже не было.

После Берлина вагон опустел. Кроме меня, осталась лишь грустная пожилая чета из Франции. Я обратил на них внимание еще в Москве. Они ждали какого-то Диму, высматривая его сквозь окна на перроне, то и дело поглядывая на дверь тамбура.

Она называла его Данилой, а он ни разу не произнес ее имени. Маленькая, сухонькая, послушная, она заглядывала ему в глаза и все спрашивала:

— Ну, где же он, Данила?

Старик не отвечал жене, переступая с ноги на ногу и тихо не то напевал, не то бормотал:

Мне б только речку переплыть,
А там я знал бы, как мне жить...

Поезд тронулся. Старушка тихо заплакала.

— Опоздал Дима, — всхлипнула она.

— Замолчи, — крикнул Данила. — Не опоздал он, провожать нас постеснялся.

Часами они стояли в коридоре и смотрели в окно. Он объяснял ей:

— Депо. Видишь? Электродепо... Стадо пасется. Видишь? Картошка. Всю жизнь путевые обходчики картошку сажают возле своих хат.

Старушка молча кивала.

— Лес. Совсем как наш, видишь?

— Так это же и есть наш, а там — не наш.

— Дура ты, — грустно и беззлобно заключил он. — И там не наш, и это не наш...

И опять она тихо плакала, а он упрямо напевал:

Мне б только речку переплыть,
А там я знал бы, как мне жить...

Казалось, вот на глазах разыгрывается трагедия.

Хотелось поговорить с ними, но все не получалось. Правда, в Бресте мы вместе ездили смотреть крепость, но вопросы задавали они, а о себе так ничего и не рассказали.

После Берлина Данила пригласил меня в купе.

— Вот, — показал он на фигурную бутылку. — Для проводов сохранил, думал Дмитрий, племянник мой, подойдет. А он вот... — и Данила развел руками. — Может, не побрезгуете...

Немного рассказал о себе Данила и за стаканом вина. Был он когда-то помощником мастера подсобного цеха на Луганском трубном заводе и вел практику слесарного дела в заводском училище. А потом война забросила на чужбину. Долго скитались по странам, пока не осели под Парижем, основав собственное дело. Так и живут.

Поезд приближался к Кельну, где мне предстояло выходить, и я начал прощаться.

Данила сказал:

— Будете в наших краях, заходите. Это всего двадцать километров от Парижа.

Может, просто из вежливости приглашал, не думал, что даже попади я во Францию, стану искать их в каком-то маленьком поселке, но слова его показались искренними. И старушка, звали ее Евдокия Ильинична, подтвердила:

— Приезжайте, приезжайте...

В Кельне поезд стоит несколько минут. Когда я вышел на перрон, заметил, что оба, прижавшись к окну, грустно смотрят в мою сторону. Было неловко просто уйти, и я подошел поближе. Улыбаясь, они приветственно подняли руки. Когда поезд тронулся, старик исчез, но тут же появился в дверях тамбура. Глядя через плечо проводника, он махал мне рукой.

Было обидно, что так и не узнал судьбу людей, для которых лес «и там не наш, и это не наш», которым бы «только речку переплыть», чтобы начать иную жизнь.

Вскоре, однако, мне довелось побывать в Париже, и я решил навестить их, особенно потому, что Данила — мой земляк. Старики обрадовались. Данила обхватил меня своими большими руками, не выпускал, то тиская, то похлопывая по плечу, а Евдокия Ильинична топталась вокруг нас, без конца повторяя:

— Бог ты мой, бог ты мой...

Квартира у них отдельная. Кухня метров семь и комната чуть поменьше, но в ней вполне уместилась широкая кровать. Данила показал и источник своих доходов — собственное дело. Оно находится в том же двухэтажном доме, где они живут, под лестницей, рядом с входом в их квартиру. Это — слесарное производство. Если испортится у кого замок, несут к нему. Надо ключ сделать или ручку у чемодана укрепить, тоже к нему идут. Расценок на свои работы Данила не устанавливает, дают, кто сколько может.

Зарабатывает он хорошо. Если бы не квартира, на которую уходит почти половина доходов, мог бы уже прилично накопить. Но все равно хватает на то, чтобы оплатить квартиру, страховку, налоги за производство и все другие виды налогов, и остается еще на жизнь. На питание уходит мало, да много ли надо двум старикам?

За аренду производственного помещения домовладелец ничего с них не берет. Вместо этого Данила делает кое-что для дома. Следит, чтобы исправно работали приборы отопления и водопроводная сеть. Ремонтирует краны, если они портятся, прочищает трубы, когда засорятся, выполняет другую мелкую работу.

Данила добросовестно исполнял свои обязанности, и хозяин это видел. Видел, что прогадал. Так он и сказал Даниле: работа по дому в среднем не отнимает и двух-трех часов в день и не возмещает стоимости выгодного места под лестницей. Но Данила — человек хороший и можно пойти ему навстречу. Просто пусть Евдокия, которой все равно нечего делать, один раз в день подметает и всего один раз в неделю моет коридоры и лестницу да время от времени убирает во дворе. Жильцы аккуратные, мусора немного, какая уж там уборка!

То, что дверь в их квартиру рядом с лестницей, очень удобно. Если случится заказчик во время завтрака, обеда или ужина, можно оставить еду, поесть всегда успеется, зато люди знают: к Даниле можно идти в любое время. Не будь этого преимущества, вряд ли имел бы он клиентуру, потому что охотнее идут к толстяку Планшоне, у которого есть и токарный и сверлильный станки.

Данила не любит Планшоне, хотя тот ничего плохого ему не сделал. Напротив, завидев Данилу где-нибудь на улице в воскресный день, всегда первым любезно поздоровается и пригласит в гости. «Заходи на стаканчик вина, Данила, — весело подмигивая, скажет он. — Заходи, не стес-

няйся, я угощу. Сегодня большой и выгодный заказ получил», — и обязательно рассмеется.

И что тут смешного, непонятно. Просто дурачок какой-то. И врет он: дела у него идут плохо.

Данила не любит Планшоне и его глупый смех. Даниле хочется вот так же непринужденно ответить толстяку и в пику ему тоже рассмеяться. Сказать, что у него и самого дела идут хорошо и сам он приглашает на стаканчик вина. Он каждый раз собирается вот так сказать и еще громче, чем толстяк, рассмеяться, но ничего из этого не получается. Он лишь буркнет что-то в ответ и заспешит, чтобы не послать ко всем чертям пузатого, потому что повода для этого нет, а вежливые, но колкие слова не приходят в голову.

Двадцать лет сидит он под деревянной лестницей. Он привык к электрическому свету в дневное время, его не раздражают скрипучие шаги над головой. Он слушает их и разговаривает сам с собой: «Ишь, как рано прискакал Поль, должно быть, с уроков сбежал... А старик Морме опять клюкнул. Сейчас ему достанется. Э-э, да никак Шарлотта нового гостя ведет. Этих шагов ни разу здесь не было. Вон как тяжело ступает, немолод уже, а тоже вот...».

Данила привык к этой жизни и не ропщет. Он ни к кому не ходит в гости, и никто не посещает его. Есть в поселке еще несколько эмигрантов, но они не встречаются, ненавидят друг друга, может быть, потому, что идет между ними глухая, скрытая борьба за место в жизни в этом чуждом для них мире, где все они словно из одной партии уцененных товаров. И паспорта у них уцененные. Это только «вид на жительство», который не дает и тех прав, что имеет любой бродяга француз. И на вопрос о подданстве, гражданстве они отвечают: «Без подданства, без гражданства». Они не граждане.

Когда дом затихает и запирается парадная дверь, ведущая к лестнице, Данила складывает инструмент, снимает фартук и идет домой. Наступают самые мучительные минуты. Именно в эти минуты одолевает его щемящее чувство. Собственно, это чувство никогда не покидает его, но днем оно ослабевает, затушевывается. Оно остается и живет в нем, будто затянутое пленкой. А вот к ночи душа начинает болеть, как оголенная рана.

Он гнал от себя видение белой хатки на Донце, где родился и вырос, откуда шел на трубный завод. Он видел ее по ночам с удивительной ясностью, видел весь двор вплоть до трещин на стенах их глиняного коровника.

Он лежал с открытыми глазами в абсолютной темноте, а перед ним стояли его конторка в цехе, и весь цех, и ребята, которых он учил слесарному делу. Это были не воспоминания, не застывшие видения, не пейзажи или фотографии. Это была жизнь. В центре ее постоянно находил-

ся он сам. То мирно разговаривал, то спорил, то смеялся, и он помнил, о чем разговаривал, по какому поводу спорил, над чем смеялся.

Это было сладостно и до стона мучительно. Если засыпал в середине разговора, продолжал беседу во сне именно с того места, на котором она была прервана. И когда открывал глаза, заканчивал разговор с той полуфразы, на которой проснулся. Поэтому он не знал, когда заснул, когда проснулся и спал ли вообще. Скорее всего то забывался, то спохватывался, но не улавливал грань между забытьем и бодрствованием.

Данила ненавидел ночь и ту минуту, когда Евдокия шла готовить постель. Он ненавидел свою постель, где провел столько бессонных ночей.

Однажды он лежал, стараясь не шевелиться, и, щадя жену, делал вид, будто спит. Пусть хоть она отдохнет. Ей тяжелее. Она испытывает то же, что и он, и еще дополнительно его капризы, его плохое настроение, которое он вымещает на ней, потому что больше не на ком.

Когда стало ясно, что удалось обмануть Евдокию и уже можно было не подавлять вздоха, рвавшегося из груди, он услышал ее тихий голос:

— Попробуй все-таки заснуть, Данила.

Тогда он закричал, что вечно она не дает ему покоя и будит среди ночи и что это в конце концов невыносимо.

Он резко поднялся, надел штаны и ушел в свою мастерскую. Здесь стояла детская коляска, сданная в ремонт. Он хотел работать. У него были для этого силы, требовалось применить их, дать выход тому, что скопилось в голове. Взяться за коляску он не рискнул: потревожит соседей.

Он сидел, уже ни о чем не думая, и ему было жаль Евдокию. Она безответная. Она ничего ему не скажет, не возмутится, не упрекнет. Она просто не заснет, пока он не вернется. Он упрямо сидел и терзался из-за нее и не мог подняться с места.

Они прожили долгую жизнь, и все, что надо было сказать друг другу, давно сказали, и теперь им не о чем разговаривать. Она знала его привычки, знала, что готовить ему на обед, и он не мог даже попросить горчицу или перец, потому что всегда все стояло на месте. Они молча обедали, и он молча уходил под лестницу.

Никогда не думали они, что могут остаться на чужбине. Это была дикая и нелепая мысль, поэтому и не могла она появиться у них. Они твердо знали: как только кончится война, тут же уедут. Только бы дотянуть до конца войны. Вот тогда он и услышит где-то эти слова, накрепко засевшие в голове: «Мне б только речку переплыть...» Только бы дотянуть.

А когда война кончилась, пошла эта умно организованная подлая ложь: всех, кто был в плену или по другим причинам оказался здесь,

расстреливают на границе. Люди стали задерживаться с отъездом. Они тоже решили пока остаться, пусть пройдет немного времени, пусть успокоится обстановка.

И опять ждали какого-то рубежа, каких-то новостей, потому что не может быть, чтобы все осталось так, как есть. Должно же что-то произойти, после чего они смогут спокойно поехать домой. Они ждали этого мифического часа, глубоко веря в него, а годы шли. Постепенно вера угасала, все меньше оставалось надежд на чудо, надо было действовать самостоятельно. Как действовать? Они не знали. Многие уже уехали, а они все ждали.

...Данила долго сидел среди ночи под лестницей, тупо уставившись на коляску, пока в хаосе туманных мыслей не проплыла одна, за которую он ухватился, отгоняя все остальные, боясь, чтобы не улетучилась она вот так же внезапно, как и появилась. И когда мысль эта окрепла в нем и превратилась в твердое решение, он медленно поднялся, медленно пошел в комнату, зажег свет и торжествующе сказал:

— Ты не спишь, Дуся?

— Это ты мне говоришь, Данила? — испуганно подняла она голову. Она давно забыла это имя. Веселый Даня называл ее так только до войны. Она уже не помнит, когда это было. Счет времени у нее начался с той минуты, когда стало ясно, что эвакуироваться не успеют, и он сказал: «Плохи наши дела, Евдокия». Так назвал он ее тогда впервые. Но это показалось естественным, такая была обстановка.

Уже много лет он никак не называет ее. Нет необходимости. Если обращается к ней, то просто: «Сходила бы в магазин наждачной бумаги купить». Или: «Посмотри, не оставил ли я на столе очки?» В тех редчайших случаях, когда называл ее по имени, то только Евдокией.

И вдруг — Дуся. Она испугалась больше, чем два часа назад, когда он так неожиданно и несправедливо обидел ее. Быстро привстала и потянулась за платьем.

— Нет, нет, ты лежи, послушай, что скажу.

Данила сел возле нее на постели и, наклонившись, заговорил шепотом:

— Мы уедем отсюда, Дуся. Что нам здесь делать? Это уже решено твердо. Напишу Клаве, все-таки жена моего родного брата. Ну, когда-то не ответила, может, и не дошло письмо, а сейчас ответит. Поедем к ней, все разузнаем, а потом вернемся за вещами. Или продадим к черту. Там купим новое. Пойду на свой завод, не может быть, чтобы знакомых не осталось. А может, списки сохранились, я ведь стахановцем был, помнишь? Может, и приказ уцелел — как передовика производства меня тогда в помощники мастера выдвинули, помнишь?

В голове у Евдокии затуманилось. Надо было ответить Даниле, что-нибудь сказать, но она боялась сказать невпопад, боялась прикоснуться

к этой картине, возрожденной им, потому что за его словами увидела всю их прошлую жизнь в целом и по частям, вроде того дня, когда к ним пришли вместе с Данилой заводские друзья, чтобы отметить его выдвижение.

Именно в тот день принес он столь странный и неожиданный подарок. Это была шелковая ночная рубашка голубого цвета, с кружевами, которая и не очень-то ей была нужна и размером не подходила, и она никак не могла сообразить, почему вдруг он это купил. Данила стеснялся своего подарка и избегал ее взгляда. А она все спрашивала, и он рассердился и сказал: пусть не пристает, если не понимает, что в доме праздник.

Уже и сама она стала догадываться, но еще не верилось и хотелось, чтобы он вслух сказал, что это подарок ей, Дусе, в честь его выдвижения, ибо и она причастна к его труду, и он благодарит и ценит ее. И хотя его отвлекли друзья и ничего больше он не сказал, она теперь уже твердо знала, почему он это принес, и убежала в другую комнату, прижала рубашку к лицу, чтобы никто не увидел слез.

Она все вспоминала. Ей хотелось, чтобы Данила говорил еще, а он неожиданно умолк. Тогда она сама сказала:

— А помнишь, как ты на общем заводском собрании выступил? Человек пятьсот, наверное, слушали. И все поздравляли. Конечно, тебя помнят... — Ей хотелось добавить: «Даня. Тебя помнят, Даня». Но она разучилась говорить это слово...

Рано утром Данила сел за письмо Клаве. Коляска, принятая в срочный ремонт, подождет. Он сейчас занят. Да и вообще мастерская его еще закрыта. А то привыкли ночь-полночь, когда хотят, тогда и ходят. Хватит, поунижались! Он занят важным делом, и пусть не беспокоят. А не нравится, пусть отправляются к своему Планшоне...

Вскоре пришла большая радость: почтальон принес письмо из Москвы. Сын Клавы, их родной племянник Дима, о существовании которого они не знали, сообщал, что их письмо пришло как раз, когда он приезжал в Луганск навестить мать, а сам он работает и учится в Москве, и если хотят приехать, пусть приезжают. И мать просила написать, что будет рада их приезду.

Разрешение дали неожиданно быстро. Разрешение ехать на родину, о чем сказали ему в советском консульстве на бульваре Мальзерб в Париже, и это само по себе было ошеломляющей радостью.

Им хотелось повезти Диме хорошие подарки, может быть, костюм, им не жалко на это денег. Беда, только размера не знают. Ну, ничего, дорогие подарки привезут во вторую поездку, а пока купили кое-что оригинальное, чего в России, конечно, нет.

...Уже была ночь, уже ушла спать Евдокия Ильинична, а чуть захмелевший Данила неторопливо вел рассказ о трагедии своей жизни.

Я слушал Данилу и невольно вспоминал инженера Николая Лаврова, с которым случайно познакомился в Версале. Потом мы несколько раз с ним встречались. Особенно запомнилась мне одна встреча на озере. Он принес с собой обещанную мне книгу Д. Мейснера «Миражи и действительность».

— Вот, — сказал он, — прочтите. Ее автор — известный в прошлом политический деятель, чуть ли не правая рука Милюкова. Я жил так же, как жили большинство описанных здесь эмигрантов. Как и у них, из десятилетия в десятилетие, из года в год распадалась, крошилась, выветривалась моя идеология, идеология человека, не принявшего революции. Но чтобы судить о моей жизни, надо иметь в виду одно отнюдь немаловажное обстоятельство. Я инженер-конструктор высокой квалификации. Такого положения добились немногие эмигранты.

Между Лавровым и Данилой — пропасть. Но в одном они абсолютно едины. Ностальгия! Я много слышал об этой болезни. От нее не умирают. Еще ни один врач не констатировал смерть от ностальгии. Но она давит человека, душит его, доводит до отчаяния, до безумия.

— Вам этого не понять, — говорил мне Данила. Именно такие же слова произнес и Лавров.

Почему не понять? Мне приходилось бывать на чужбине по нескольку месяцев. Однажды больше трех лет.

— Это совсем не то, — с досадой махнул рукой Лавров, — у вас осталось главное: сознание, что пройдет какое-то время, и вы обязательно вернетесь. Вернетесь в свой дом, к своим друзьям и родным, в свой лес, к своей реке. Нет-нет, это совсем не то. Это тоска по родине, которую потерял навсегда. А оставаться на чужбине не хватает сил. Все кажется постылым, отвратительным, непереносимым, и язык, и дома, и запахи. Да-да, что вы так смотрите? Разве вы не знаете, что каждая страна имеет свои запахи? Разве можно сравнить аромат украинской деревни с французской? Да что деревни! Куда ни пойдешь — все чужое. Нравы, обычаи, весь уклад жизни, чуждый и нелепый, к которому не привыкнуть. И тебя, как замурованного в бетон, окружает мертвая тишина в этом крикливом, гудящем, многолюдном мире, и чувство одиночества охватывает такое, что хочется выть...

Я одинок и беззащитен. Все построено так, чтобы человек не переставал чувствовать себя зависимым, униженным, беспомощным. В бюро, где я работаю, ни один инженер не знает, сколько зарабатывает такой же, как он, сидящий рядом и выполняющий такую же, как он, работу. Заработок держится в строгой тайне. Управляющий или владелец предприятия дает вам грошовую надбавку, прикладывая к губам палец: «Смотри, не проговорись, один ты это получил». И молчит человек. И лезет из кожи, изворачивается, только бы шеф был доволен. Эта система изо-

лирует человека от товарищей, воспитывает в нем эгоизм, чувство зависти.

Такая система повсюду. Попробуйте спросить француза, сколько он зарабатывает. Никто не ответит.

Это хитрая и безжалостная система. Обратили ли вы внимание, ну хотя бы в вашей гостинице, как все вежливы, предупредительны, как вам улыбаются, как подхватывают ваши чемоданы? Вы думаете, это воспитание? Вы думаете, это вежливые, радостные люди? Нет! Это страх, страх за место. Улыбка — фактор экономический. Пусть попробует не улыбаться портье, пусть попробует отвернуться, если плюет ему в лицо богатый заморский турист.

Мне рассказывали, что у вас бывают конфликты между служащими гостиницы, даже если это уборщица, и постояльцами, словно у них одинаковые права. И будто администрация даже разбирает, кто из них виноват. У нас такой конфликт просто немыслим. Можно сколько угодно хамить, никакому портье в голову не придет жаловаться или хоть как-то проявить обиду. Его просто выгонят, и нигде уже не найдет работы человек, изгнанный за «недостаточную учтивость». Он снесет любое оскорбление и будет прятать слезы, улыбаясь.

Да что говорить о портье, — с какой-то безнадежностью покачал головой Лавров. — Вот я, совсем не рядовой инженер, а мне тоже плюют в лицо. И стыдно и унизительно, а молчу, улыбаюсь. Несколько дней назад шеф, желая похвалить меня, в присутствии нескольких человек сказал: «Да какой он русский, он настоящий француз!»

Я молча снес обиду. Это ведь сам шеф! Скажи я хоть слово, и это был бы последний день моей работы в фирме. Я вынужден вести себя так, чтобы как можно меньше проявлять мое русское происхождение.

Вот так-то, — грустно улыбнулся Лавров. — Но, знаете, даже не в этом, по сути унизительном, факте главное. В прошлом году я изобрел специальную термитную печь. Извините за нескромность, это было великолепное инженерное решение трудной проблемы. Когда только появилась идея, я сам не мог поверить в простоту, с какой можно вести сложнейшие процессы. Я не спал ночи, еще и еще проверяя теоретические обоснования моей смелой мысли. Эта идея поглотила меня. Я жил только ею. Хорошо понимания, какой экономический эффект дает моя печь, я даже не подсчитал его. Поверьте, это было удивительное, оригинальное решение.

Моя печь дала шефу сотни тысяч франков, мне же он дал месячное содержание. И опять приложил палец к губам. И я молчу. Моего имени нет на моем изобретении. Печь фирмы. Штамп фирмы. Фирма — это шеф. Если скажу, что это мое изобретение, меня высмеют.

Кому же отдаем свое творчество, свои бессонные ночи? — говорил Лавров, словно жалуясь мне. — Созданное нами, конструкторами, идет

только шефу. Ему одному. Ему не интересно оригинальное решение, безразличен полет конструкторской мысли. Бизнес! Только бизнес. Вот в чем разница между трудом инженера и у нас и у вас.

— Так почему же вы не возвращаетесь на родину? — вырвалось у меня.

— О, это большой и сложный вопрос. Но я вам отвечу. Я приехал сюда юношей, в годы революции. Конечно же, не собирался оставаться. Трудно и очень долго объяснять, как получилось, что прожил здесь всю жизнь. Скажу лишь, немалую роль сыграли и дезинформация, и антисоветская пропаганда, да и собственная инерция как-то уже устроенного человека. Прошу поверить лишь одному: меня всегда радовали ваши успехи и огорчали неудачи. Последний удар по моим прежним сомнениям нанесла великая победа советского народа в войне.

Я понимаю, как специалист, мог бы найти себе применение на родине. Думаю, что и родина простила бы мои юношеские ошибки. Да и немного их было. Казалось бы, все хорошо. Но вот теперь посмотрите на меня со стороны.

В годы разрухи я покинул родину. Выжидал, когда она начала выкарабкиваться из тягчайших болезней. Выжидал, когда встала и, на мой взгляд, на нетвердых еще ногах шагнула. Смотрел на нее со стороны, когда пошла вперед. Не взял винтовки, когда она обливалась кровью, хотя сердце мое, поверьте, было в крови от ее ран. После победы думал, что вот теперь как раз могу пригодиться. Да не было уверенности в тот момент, что примет меня родина. С какими же глазами возвращаться сейчас, когда поднялась она на такую высоту? Да и возраст мой уже пенсионный.

Нет уж, видно, судьба такая, — тяжело вздохнул он, — до конца дней работать на французскую фирму, отдавать ей себя, терпеть похвалу, что похож на француза. Не прошли мы всех мук с родиной, и нет у нас права делить с ней счастье. Только и радости, что пойдешь на Сен Женевьев де Буа, где все русское. И тянет на это кладбище, хотя у меня нет там родных или близких.

Лавров разволновался и умолк. Молчал и я, не зная, что сказать. Так и ходили мы молча по берегу озера, от его машины до забора частной купальни и обратно.

Успокоившись, он снова заговорил:

— В таком же положении находятся и те, кого забросила сюда война... Я, конечно, исключаю, — остановился он, — горстку ничтожеств, сделавших своей профессией предательство. Кстати, к этой же категории я отношу и тех, кто уже после войны эмигрировал. За последние десять лет можно насчитать... — он прищурился, вспоминая, — можно насчитать человек семь-восемь. О каждом таком случае широко оповещает и дол-

го трубит враждебная вам печать. Так вот эти, прожившие всю жизнь в советских условиях, не могут выдержать условий Запада.

Вспомните, пожалуйста, сколько они здесь выдержали? Год, два? — спрашивал он так, будто я виноват в том, что больше они не выдержали. Явились в советское посольство и взмолились: «Готовы нести любое наказание, только верните на родину».

— А остальные? — Остальным здесь хорошо?

— Очень хорошо, — рассмеялся Лавров. — Вот, например, грузин, забыл его фамилию, говорят, инженером был, но обиделся, что в кандидаты или в доктора не вышел, и сбежал сюда. Как сейчас, помню эпизод, описанный в газете. Это было в шестьдесят седьмом году, во время четвертьфинала теннисных игр на кубок Дэвиса в Дюссельдорфе. Когда советский теннисист Александр Метревели пришел после трудной игры в раздевалку, к нему бросился этот плачущий грузин. Он снимал ладонями пот с рук и ног Метревели и со словами: «Родина, родина», — размазывал по своему лицу.

Это видела вся раздевалка, и кто-то сказал:

— Что же вы не возвращаетесь на родину? Проситесь, авось пустят.

— Как возвращаться! — закричал грузин. — Они меня зарежут.

— Кто зарежет, что вы чепуху несете!

— Как кто! — возмутился он. — Соседи зарежут, товарищи зарежут, лучший друг зарежет! Они не послушают милицию.

— Вот! — торжествующе закончил Лавров. — Этот хотя и рвет на себе волосы, а возвращаться боится. Бывших товарищей боится.

И еще несколько человек болтается здесь... Аллилуева, Тарсис, где-то в унизительных условиях прозябает скрипач Михаил Гольдштейн... Кстати, — улыбнулся Лавров, — наверное, просили политического убежища. Но это же смешно. Будь они идейные борцы, собрались бы здесь все вместе и решали бы, как им бороться. Но такую картину даже представить себе немыслимо. Да их и не пустят друг к другу на пушечный выстрел, чтобы не передрались.

А вообще я вам скажу: их презирают здесь так же, как и у вас. Да и забыли о них. Просто к слову пришлось. Что они для страны? А вот сами мучаются, как тот грузин. Обязательно мучаются. Понимаете, живое существо не может жить без родины. Птицы гибнут тысячами, а летят на родину, в то единственное место, где только и может зародиться их жизнь. Даже такой талант, как Бунин, не мог взлететь на чужой земле.

А Шаляпин? — повысил он голос. — Вот, кстати, дайте Мейснера. Прочтите. — Он полистал книгу и, показав мне нужное место, прочитал сам: «Все люди, сколько-нибудь знавшие Шаляпина... видели, как тоска по родине точит изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год его

сердце. Никакой дождь долларов, сыпавшихся на него во всех странах мира, и никакие овации, охватывавшие залы всех стран мира, в которые входил этот артист, не меняли смысла этой трагедии».

— Ша-ля-пин! — поднял он вверх палец. — Гений. А малявки, — сморщился Лавров, — приползшие сюда сегодня?

Вы знаете, этих я вообще... — пожал он плечами, видимо, не найдя нужного слова. — Ну, первая эмиграция. Вполне понятно. Ведь совсем новая эпоха, грандиозная ломка, отдавшаяся эхом во всем мире. Людей этой эмиграции я не считаю предателями. Они защищали свой класс и его интересы. Это же естественно, вне зависимости от того, разделяем мы их взгляды на жизнь или нет. А кое-кто из интеллигенции, вроде меня, не понял, а потому и не принял революции. Да и не мудрено было ошибиться, ведь рождался новый, невиданный ранее мир.

Трудно мне обвинять и эмиграцию периода последней войны. Строго говоря, это ведь не эмигранты. Это люди, которых духовно искалечила и расшвыряла война, или немногие откровенные предатели, вроде Власова, решившие, что родине уже не подняться и надо побыстрее надевать другую шкуру. Так как же к ним можно относиться! Даже Деникин, подумайте, Деникин, когда пришли к нему власовцы бить челом, заявил, что с предателями родины не желает разговаривать. Так и не выслушал их, хотя знал, что явились они предлагать ему «высокие» посты и звания... А эти, сегодняшние... Они интересны, да и то на короткое время, лишь тем, кто использует их против родины. Используют и бросят.

После дня, проведенного на озере, я еще несколько раз встречался с Лавровым в Париже и у него дома. И о чем бы ни заходил разговор, главной темой для него оставалась родина. Глубоко тосковал, постоянно думал о ней, но, пожалуй, прав, возвращаться ему уже поздно.

А вот Данила решился. Поэтому мне особенно интересен был его рассказ.

Он заранее написал Диме, с каким поездом приедут, в каком вагоне, указал приметы, чтобы парень мог легко их найти. И он действительно встретил их и отвез в гостиницу, потому что сам жил в общежитии. В тот вечер на их заводе был большой молодежный бал, где он выступал в самодеятельности, зато весь следующий день, благо воскресенье, обещал провести с ними.

Он приехал сразу после завтрака. Они вместе осматривали Кремль, которого никогда не видели, глазам своим не верили, глядя на станции метро. Больше всего поразил их тот совершенно естественный факт, что все, ну буквально все, говорили по-русски. На улицах, в кафе, в автобусах решительно повсюду слышалась только русская речь.

Собственно говоря, ничего другого они и не ждали, вернее, не думали об этом, иначе же не могло быть. И тем не менее это было удивительно и волнующе.

Часам к семи вечера приехали к Диме в общежитие. Их встретил Владлен — товарищ Димы и его сосед по комнате. Стол был красиво накрыт, с красиво оформленными закусками.

Данила был очень доволен экскурсией, а тут еще такой стол, и он совсем растрогался. В какой-то момент, когда ребята вышли из комнаты по хозяйственным делам, он сказал:

— Пожалуй, не поедем завтра в Луганск. Поживем здесь дня два-три. Москва ведь!

Евдокия согласилась.

Все сели за стол. Первый тост подняли за гостей. И опять у Данилы навертывались слезы. Он благодарил за душевный прием, предложил выпить за Диму и его друга Владлена.

Потом извлек из кармана баночку и, довольно улыбаясь, сказал:

— Это вам сувенир, Дима. Это лучшая французская горчица.— Ребята были смущены. Данила видел это, но настойчиво предлагал отведать горчицы.

Дима открыл крышку баночки и оттуда со свистом выскочил чертик.

— Вот это да! — восхитился Владлен.

Все смеялись. Было очень смешно. А Данила вытащил из кармана фигурку де Голля, и это оказался пробочник. И опять все смеялись, а Дима благодарил за подарки.

Кто-то из соседей заглянул в дверь, и вскоре все общежитие узнало, что у Димы гости из Франции. Набилась полная комната. Это были рабочие ребята, учившиеся в заводском вузе, дотошные, остроумные, и они хохотали, рассматривая сувениры.

Только один из них, Костя, самый молодой, хотя был уже выпускником института, не хохотал, а прищурившись, улыбался, поглядывая то на сувениры, то на гостей.

— Вот что значит заграница! — с той же улыбкой подмигнул он Владлену.— Разве у нас такое сделают?

Дима перехватил Костин взгляд, и это царапнуло его.

Неожиданно стало тихо.

— Расскажите нам о Франции, пожалуйста,— попросил кто-то.— Как выглядят Лувр, Сорбонна, как живет молодежь?

— Верно, подхватил Костя.— Мне давно хотелось послушать иностранца.

Данила помрачнел. Надо бы сказать ему, этому ехидному парню, пусть не зарывается, но грубить в гостях неловко. Да и грубить вроде нет повода. Парень-то ему не нагрубил. Хорошо бы вежливо осадить его, а как? Вежливые, но колкие слова, как и при встречах с Планшоне, не приходили в голову. И бог с ним, с этим парнем, некогда подбирать для него слова, надо что-то ответить ребятам.

А что мог сказать Данила о Париже? В Лувре он не был, о Сорбонне не слышал, как живет французская молодежь, не знал. Он стал описывать Эйфелеву башню, где ему довелось побывать лет пятнадцать назад. Говорил сбивчиво, мучительно думая, о чем же еще рассказать ребятам.

В комнату вошел комендант общежития. Спросил, почему здесь распивают водку, хотя никто уже не пил.

Ему объяснили: случай особый, приехали родственники из Франции.

Он ушел, многозначительно взглянув на часы. И все посмотрели на часы, поняв его без слов: посторонним лицам не разрешалось оставаться здесь позже двенадцати. До двенадцати было еще далеко. Разговор не клеился. Ребята опять стали открывать крышку горчичницы, вертеть пробочник. Выскакивал чертик, де Голль размахивал руками. Все грустно улыбались.

Постепенно комната пустела. Собрались уходить и старики. В гостинице Данила сказал:

— Может, нам в Луганск уехать завтра, Евдокия? Надо бы сначала с Клавой повидаться, дело сделать, а потом уже разгуливать по Москве.

Жена согласилась.

Клава встретила их с искренней радостью. Радовалась, что они живы и объявились наконец. Вспоминали прошлое. Заговорили о ее муже Федоре, погибшем на войне. Она показала его награды — орден Отечественной войны первой степени и орден Отечественной войны второй степени. По статуту, эти ордена вручаются на хранение семье погибшего и передаются потом из поколения в поколение.

За несколько месяцев до конца войны Федору удалось побывать дома, а спустя две недели пришло это страшное извещение.

Даниле было жаль Клаву. Еще не старая и собой крепкая, а вот осталась одна. И люди хорошие попадались, но из-за сына отказывала. Сына воспитывала. А теперь — поздно.

Незаметно в разговорах пролетело часа два.

— Да что же я сижу, — всплеснула руками Клава, — скоро люди придут!

Клава работала на фабрике и в тот день взяла отгул. Оказывается, в честь их приезда пригласила друзей с фабрики и двух однополчан мужа.

Знакомя Данилу с гостями, Клава говорила, что это брат Федора, и хотя живет во Франции, но человек трудовой, рабочий. Люди приветливо улыбались, пожимали руки Евдокии и Даниле.

Его сердце наполнялось гордостью. Он давно не был в такой большой и дружеской компании, забыл уже, что люди вот так собираются

просто для веселья. Было в его жизни такое или нет? Конечно, было. Но еще тогда, когда хотелось жить.

Он понимал: первый тост поднимут за него и Евдокию. И он заранее подготовился, заранее придумал нужные слова для ответа. Было шумно и весело. Данила пока не вникал в разговоры, повторяя про себя ответный тост. Надо сказать так, чтобы видели, как он любит родину. Чтобы не считали его здесь иностранцем, как тот молокосос.

Когда все уселись и налили рюмки, поднялся самый пожилой человек. Он предложил выпить за хозяина этого дома, своего боевого друга и командира, за всех, кто своим потом и кровью обеспечил победу и дал возможность людям жить, работать и вот так собираться...

Данила не обиделся. Тост был правильный. Хотя странное дело — что-то досадное было в нем. Вроде, выпили за всех присутствующих, кроме него и Евдокии. Данила злился на себя за эту мысль.

Следующий тост подняли за женщин — главную силу их фабрики и за лучшего бригадира — хозяйку дома. Этот тост вызвал особое оживление. Все хотели чокнуться с Клавой, потянулись к ней, и каждый добавлял какие-то слова, и Данила понял, кто же на самом деле есть Клава. И душа коллектива, и делегат каких-то конференций, и депутат райсовета, и просто хороший товарищ, и надежный друг.

И даже после того как люди выпили, разговор о Клаве продолжался. Она только отмахивалась от похвальных слов, а Данила думал о том, какое это счастье — иметь столько друзей, знать, что ты не одинок.

Потом поднялся седой человек лет сорока пяти, сидевший напротив Данилы, звали его Алексей Никитич, и предложил выпить за гостей из Франции. Люди выпили.

После длинного и шумного тоста за Клаву получилось как-то сухо и официально. Ответная речь, которую Данила подготовил, показалась ему сейчас неподходящей. Он смолчал.

Потом долго закусывали, разговаривали, смеялись. Даниле тоже хотелось приобщиться к разговору, но никак не мог придумать, что бы такое сказать. Говорили о фабричных делах, о заседаниях, о вечерах, должно быть, похожих на этот. Будто продолжали давно начатый разговор.

Данила внимательно прислушивался. Он тоже улыбался, когда люди смеялись, кивал в такт говорившему, понимающе поддакивал, а то и вставлял несколько слов, но никак не мог ухватить существо разговора и решительно не понимал, чему смеются. Он будто и участвовал в разговоре, но оставался за какой-то незримой чертой, отделявшей его от этих людей, и ему не удавалось переступить ее.

Центром разговора был то один, то другой, и настал наконец момент, когда все внимание обратилось к Даниле.

— Молодцы все-таки французы, — сказал Алексей Никитич. — Шутка ли, десять миллионов в забастовке участвовали. И вы тоже?

Вот тогда-то и смолкли все, ожидая, что он скажет.

Что мог сказать Данила!

— Да-а, было дело, — солидно протянул он. — Весь транспорт встал, заводы и фабрики остановились...

Он понимал, что это известно и без него. А что же еще сказать? В их маленьком поселке не очень-то была видна забастовка. Пока он обдумывал, кто-то шепотом заговорил с соседом на краю стола, разговор перекинулся дальше, стал громче, возник общий спор, и уже никто не смотрел на Данилу и ничего от него не ждал. И опять он почувствовал, что остался один.

Никто не сказал ему обидного слова. Напротив, все вежливо улыбались, предлагали закусить или выпить, но все яснее становилось, что единственно об этом и могут говорить с ним.

Данила мог бы, конечно, рассказать, как тяжко ему на чужбине. Он не решался на такой разговор, боясь вопросов, ответ на которые им не понять. А они, видимо, из деликатности не поднимали этой темы.

Евдокия нашла себе дело: помогала Клаве уносить на кухню грязную посуду и подавать к столу пироги.

Данила задумался. Выпивший лишнего бывший фронтовик сидел возле него и клевал носом. И вдруг, точно его подтолкнули, встряхнул головой и уставился на Данилу:

— Молчишь, француз? — дружелюбно сказал он. — А ты бы объяснил, что делал, когда мы кровь проливали.

— Ты с ума сошел, Павел, — возмутилась Клава. — Напился и сиди себе.

— А что? — добродушно улыбаясь, развел он руками. — Напился. Верно, напился. А что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. — Он громко рассмеялся, а потом очень серьезно, словно протрезвев, добавил: — И ты, Клава, думаешь, как я, и все они, — обвел он пальцем окружающих.

Сразу несколько человек цыкнули на него.

— Ну, хорошо, хорошо, не буду, — оттолкнул он ладонями воздух. — Извини, француз, не виню тебя. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. В войну сохранил себя, — кому охота умирать? А после войны, когда мы голодали и землю на бабах пахали, какой же дурак сюда поедет...

С каждым словом голова Данилы дергалась, как от удара. Почему же молчат остальные? Почему не прервут его? И только выслушав эту длинную тираду, точно спохватившись, Алексей Никитич крикнул:

— Да замолчи ты, как не стыдно!

Друг Паши, тоже бывший фронтовик, вызвался проводить его домой. Тот и не сопротивлялся. Мирно пошел и уже с порога, обернувшись, добавил:

— Ты теперь не уезжай, француз. Теперь хорошо живем. Говори: «Люблю родину» и требуй квартиру...

Пашин друг потащил его за собой и захлопнул дверь. Но из-за двери отчетливо донеслось:

— Трехкомнатную требуй... Дадут, как сознательно вернувшемуся...

— Не обращайте внимания, выпил много, — сказал Алексей Никитич.

Данила не слушал. Ему хотелось кричать. Упасть на пол, обхватить голову руками и кричать.

За что? Разве он виноват? Да как объяснить им это? Ведь и они улыбку прячут. Жестокие люди. За что? Ни разу нигде не совершил он поступка против родины.

На следующий день Клаве надо было выходить на работу во вторую смену. Завтракали молча. А потом Данила не выдержал, высказал свою обиду.

— Понять должны, — закончил он, — разрешили мне приехать, значит, нет за мной вины. А если что и не так, простила меня родина. Чего же теперь попрекать?

— Оно, конечно, — вздохнула Клава. — Только скажу тебе, не таясь, родина — это мать. А мать всегда простит сына, как бы больно ей ни сделал. Даже если бросил ее, когда вся в крови лежала. А люди не прощают. Они знают: родина поднимется и простит, а кто бросил ее, считай отрезанный ломоть. Ни автогеном, ни дуговой не приваришь. И винить их не в чем.

— Так что же они, вот те, что здесь были, больше, чем родина?

— Не знаю, Данила, как тут делить. Знаю только, что в них моя опора. И в горе и в радости. И обижайся, не обижайся, ссориться с ними не буду. Особенно с Пашей. Человек он надежный, в бою другом Федору был.

Она умолкла, потом, улыбнувшись, сказала:

— Хватит об этом. Если в чем моя помощь нужна, всегда помогу. А сейчас советую город посмотреть, не узнаете его теперь. К обеду только не опаздывайте, мне ведь на работу...

На автобусе объезжали и осматривали родной город. Ни одного района, кроме той же, но сильно изменившейся улицы Ленина, узнать было нельзя. Новые дома, новые кварталы. Незнакомые, неприветливые. Это раздражало Данилу. Перед ним был чужой город. А где же родина?

Возвращались угрюмые. Возле дома Клавы Данила сказал:

— Ты иди, а я через часок вернусь. — И заспешил, зашагал, чтобы не успела ни о чем спросить.

Данила шел на свой завод. У проходной — она осталась почти такой, как была, — возле газетного стенда, дождался гудка. И без того екало сердце, а тут люди пошли. Первой высыпала молодежь. Шумной,

веселой ватагой. Такими и раньше были его ученики на этом заводе. А потом все смешались в толпе: и молодые, и совсем пожилые, даже старше, чем он. Вглядывался, всматривался, стараясь отыскать знакомых, страшась, что они узнают его первыми и он не успеет спрятать лицо.

Толпа росла, вытягивалась. Надвинув кепку на самые брови, шагнул, еще шагнул, а глаза бегали, бегали...

Колька! Его ученик Колька. Самый смышленый и боевитый, степенно вышагивал, окруженный рабочими. Боже мой, как постарел! Наверное, мастер теперь или начальник цеха.

Данила провожал его взглядом, пока тот не скрылся в толпе. И снова бегали глаза. Узнал еще кого-то, чьей фамилии не мог вспомнить. Не отдавая себе отчета, робко приблизился к потоку, подобрал его шаг, слился с ним и, часто глотая, пошел.

1969 г.

ТОЛПА ОДИНОКИХ



Советское посольство в Западной Германии находится километрах в десяти от Бонна. Поэтому я решил остановиться не в Бонне, а где-нибудь поближе к своим. В течение десяти минут пересек столицу и в районе Мелема, недалеко от посольства, присмотрел себе маленький отель.

В глубине парка, где гигантские платаны перемежались кустарником, на самом берегу Рейна стоял этот трехэтажный дом с мансардой и сильно вытянутой вверх крышей. Фасадом он был обращен к шоссе, а облепленная башенками, похожими на крепостные, тыльная сторона выходила к реке. Резко выделялись узкие длинные окна лестничных проемов с фигурными медными переплетами и толстыми цветными стеклами. Не будь огненных надписей «Отель», «Кафе-ресторан», «Свободные номера есть», можно было принять его за старинный замок. А может, и в самом деле это замок, превращенный в отель.

В парке вдоль низенькой каменной ограды, повторяющей изгиб Рейна, — открытое кафе. Где-то в глубине почти совсем затянутый зеленью флигель с опущенными деревянными жалюзи. Парк ухоженный, чистенький, и подумаешь, прежде чем стряхнуть на землю пепел с сигареты.

Все красиво, и, как сказал шофер, цены умеренные, вот и решил остановиться здесь.

Мы въехали в парк. Навстречу бросился седой человек лет пятидесяти. Ловко, с изяществом он распахнул дверцы и, широко улыбаясь, величественным жестом пригласил в дом. Он проводил нас к своей хозяйке, владелице отеля Хильде Марии Шредер.

Сухонькая, сутулящаяся немолодая женщина встретила так же приветливо, как и ее работник. Спрашивала, какая именно нужна комната, хочет ли приезжий наблюдать из окна бурную жизнь шоссе, где можно увидеть машины с номерами многих стран мира, или предпочтительнее вид Рейна и гор, покрытых лесом, на его противоположном берегу.

В ресторане отеля, не заставив себя ждать, ко мне подошла хорошенькая девушка лет двадцати в беленьком с кружевами фартучке, похожая на гимназистку. Она улыбалась, будто старому знакомому и, казалось, готова захлопать в ладоши от радости, что я появился. Это официантка Эрика.

Так встречают и принимают здесь каждого.

Попрощалась со мной Эрика тоже с улыбкой, пожелав хорошо провести вечер. А вечер был и в самом деле хороший. Неслись по шоссе «мерседесы», «опели», «фольксвагены», пульсировали цветные неоновые трубки реклам, по другую сторону Рейна, высоко в горах, зажглись огни фешенебельного отеля «Петерсберг». Оттуда доносилась тихая музыка.

Спокойно и безмятежно было в отеле Хильды Марии Шредер. И вокруг было хорошо. И стало немножечко грустно... Не умеем мы так принимать людей. Правы, подумалось мне тогда, многие наши туристы, рассказывающие не только об отличном обслуживании на Западе, но и о более существенном: повсюду много шикарных магазинов, вещей уйма, любого размера и на любой вкус. Есть дорогие товары, но много дешевых, и каждый может купить то, что ему хочется.

Туристы видят не все. Им показывают красивые места, музеи, выставки. В короткие свободные часы они гуляют по главным улицам, любуются сверкающими витринами, многоцветными огненными рекламами и, возвращаясь домой, рассказывают об этом великолепии.

Я приехал не как турист. Я собирал материалы для книги, над которой работаю. И времени у меня было достаточно, чтобы увидеть не только витрины. Но могу подтвердить: да, обслуживание отличное, магазинов много, выбор товаров большой.

Все было хорошо в отеле Хильды Марии Шредер, хотя эти улыбки и радость обслуживающего персонала казались не очень искренними. Исключением, пожалуй, был портье, первый, кого здесь встретил. Звали его Генрих Борб. Высокий лоб, красивая седина, добрые и умные глаза излучали теплоту и обаяние. На нем был темный костюм не очень хоро-

шего качества, далеко не новый, с явно короткими рукавами. Видимо, они уже подшивались, и портье втягивал в них руки, точно ему холодно.

Каждый раз, когда я выходил из отеля или возвращался в свой номер, неизменно встречался с ним в саду. Даже занятый приезжающими, он успевал пожелать мне добра. Иногда мы обменивались несколькими фразами. Он не упускал случая высказать свои симпатии советским людям, которых близко узнал, когда был у нас в плену и работал на строительстве.

И тут выяснилось поразительное обстоятельство. В одном из боев дивизия, в которой он служил, отражала атаки моей дивизии. И чуть ли не в один и тот же день он был взят в плен, а я — тяжело ранен.

— Ведь мы могли тогда убить друг друга, — сказал он и рассмеялся.

Это обстоятельство взбудоражило его. Откровенно говоря, и мне оно не было безразличным, хотя не могу пока разобраться в своих ощущениях, возникших при разговоре. Только разговор этот сблизил нас.

Портье был мне симпатичен, его улыбкам верилось. Должно быть, существуют какие-то флюиды или импульсы, еще не разгаданные учеными, которые человек, помимо воли, посылает собеседнику, в зависимости от своего отношения к нему.

Вот, например, говорят: «Интуитивно почувствовал — верить ему нельзя». Или напротив: «По глазам вижу — он меня не обманет. А что это за ощущения такие? И почему по глазам видно? Меняются они в цвете, что ли? Да нет, они излучают какие-то сигналы, а мы воспринимаем их, автоматически расшифровываем как добро, зло, любовь и еще бог знает какие чувства и их тончайшие оттенки. Правда, разум не так уж редко пытается послать иные сигналы, скажем, вместо неприязни — любовь. Но флюиды сердца сильнее. Они все-таки пробиваются и выдают подлинные чувства.

В общем, не знаю почему, но интуитивно почувствовал, что импульсы, посылаемые мне Генрихом Борбом, идут от чистого сердца, хотя отвечал он не на все мои вопросы. Однажды, например, я вернулся в отель очень поздно. Щурясь на яркий свет фар, к машине бросился тот же Борб.

— Когда же вы отдыхаете? — удивился я.

Он улыбнулся.

— Завтра. Завтра у меня выходной. Уеду к своим в Дюссельдорф. Это совсем близко.

В Дюссельдорф на следующий день собирался и я. Сказал, если у него нет транспорта, охотно подвезу. Условились ехать вместе.

Пока мы разговаривали, в затянутом зеленью флигеле зажглись два окна. Свет пробивался сквозь деревянные жалюзи. Я еще раньше соби-

рался спросить, что это за дом и почему там даже днем опущены жалюзи.

— ...Тоже сдаются комнаты, — неуверенно и не сразу сказал Борб. Ответить на вопрос он явно не захотел. Впрочем, и не обязан же отвечать на все мои вопросы.

Больше месяца, с короткими перерывами, прожил я в отеле Хильды Марии Шредер. Близко наблюдал жизнь этого дома. В Дюссельдорфе мне предстояло побывать несколько раз. По просьбе Борба старался приурочить свои поездки к его выходным дням, выпадавшим чаще всего на вторник, как на менее загруженный день. Мы ездили вместе. Он рассказывал о своей жизни, о жизни отеля. Ему очень хотелось побывать у нас, посмотреть на дома, которые строил на Украине.

Когда я уже собирался в Москву, он попросил прислать фотографию этих домов. На прощанье подарил мне небольшой фонарь. Не сразу угадаешь, что внутри не просто стекло, а квадратная бутылка с вином. Где-то спрятан механизм. Когда наливаешь из бутылки, раздается музыка. Тихая, умиротворяющая.

Я тоже сделал ему подарок и тоже обратился с просьбой. Вернее, спросил, не будет ли он возражать, если, изменив имена постоянных обитателей отеля, все же опубликую то, что он мне рассказал. Ведь вдоль всего Рейна идут десятки и десятки точно таких же отелей.

Борб не согласился:

— Как ни маскируйте, если дойдет до Брегберга, он все поймет. Представляете, что со мной будет?.. Но, — как-то странно улыбнулся он, — возможно, я напишу вам, что согласен. Возможно, это будет скоро.

В первый раз я увидел, что с его флюидами что-то происходит. Что-то прячет он от меня.

Этот разговор происходил в середине шестьдесят девятого года. Недавно я снова побывал в Западной Германии. После всего, что я узнал, останавливаться в отеле фрау Хильды Марии Шредер не мог. Но очень хотелось повидать Борба.

И вот хорошо знакомый мне парк. Все было там, как и в первый приезд. Но не было Борба. Вместо него к машинам бросался какой-то здоровенный парень.

— Не знаю, — грубо ответил он на мой вопрос о Борбе. — Интересно, зачем вам понадобился этот тип?

Как-то странно он говорил. Видимо, случилось что-то серьезное. Идти к фрау Шредер не решился. Побоялся. Прошу понять меня правильно. Дело не лично во мне. Но я гражданин СССР, а Борб, по мне-

нию некоторых влиятельных лиц, — человек ненадежный. И никаких деловых отношений у меня с ним не было. Почему интересуюсь им и почему специально заехал, чтобы повидать его? Просто дружба? Но дружба западногерманского портье и советского литератора в условиях ФРГ — уже улика против обоих. Своим посещением я мог принести Борбу неприятности. На такой риск не пошел...

Отель принадлежал Хильде Марии Шредер. Фактическим же хозяином являлся Брегберг, бывший гитлеровский офицер. На фронте он не был, в боях не участвовал. Он командовал в тылу подразделением, которое приводило в исполнение приговоры фашистского суда. На эту выгодную должность он попал не сразу. Сначала был тюремным надзирателем, потом начальником одного из тюремных корпусов, и лишь после этого ему доверили пост командира особого подразделения, где при фантастически высоком окладе не требовалось ни умственного, ни физического напряжения.

Генрих Борб — техник-смотритель высокой квалификации — работал в ту пору на военном объекте. Однажды вместе с бригадой из трех человек его послали на тюремный двор, где сооружалась пристройка к корпусу. Что за пристройка, никто не знал. Я не очень понял, как это возможно технически, но каждую стену или узел, что ли, с какими-то нишами, навесами, выступами клали разные люди, от которых уже построенное закрывалось брезентом. Начальником основного корпуса был тогда Брегберг. В его распоряжение и поступил Борб.

К концу первого дня работы Борб случайно зацепился крючком от куртки за край брезента. Тут же отцепил его, но именно в это время появился Брегберг. Он не знал, что произошло. Он увидел только, как техник выпустил из рук край брезента. Значит, заглядывал. Совершенно спокойно сказал:

— Пока я вас арестую, а потом расстреляем.

Спустя несколько дней он объяснил Борбу, что только благодаря его, Брегберга, стараниям расстрел заменен отправкой на фронт. Так Борб стал солдатом.

Все это происходило в Мюнхене, где жил Брегберг, где и сейчас находятся его жена и взрослые дети. Но сам он не решился остаться там. О его жестокостях знали многие. Он ведь расправлялся не с русскими или поляками — с немцами.

В те времена дочь эсэсовца Хильда Мария, без ума влюбленная в Брегберга, была его сожительницей. Ее мать умерла, а отец не вернулся с фронта. Она осталась единственной наследницей капитала, полученного

от продажи произведений искусства, награбленных отцом в странах Европы.

Брегберг, еще раньше изменив фамилию и своевременно убравшись из Мюнхена, склонил к бегству и Хильду Марию, убедив ее в том, что деньги, добытые подобным способом, подлежат изъятию. Он помог ей купить отель на берегу Рейна.

Держа Шредер в страхе перед разоблачением, Брегберг постепенно прибирал к рукам все дела отеля. Помогала ему в этом экономка Сильвия.

Еще совсем девчонкой она мечтала о личном счастье. Может, особенно потому, что была некрасива. Ее отец, мелкий почтовый клерк в Гамбурге, не мог дать ей ни должного образования, ни приличного платья.

Она решила купить счастье. Тысячи девушек идут в публичные дома, года три-четыре копят деньги, а потом уезжают подальше от постылых мест, где гибла их молодость, и, тщательно скрывая прошлое, выходят замуж. Говорят, они становятся любящими женами и матерями, умело сводящими концы с концами в семейном бюджете.

Сильвию такая перспектива не устраивала. Она мечтала о богатстве, о сказочных путешествиях с любимым. Он тоже будет ее любить. Деньги заставят.

Оставалось решить, где взять деньги. И она решила. Решила идти тем путем, что и тысячи таких же бедных, как она. Только она умнее. Она будет жестоко и беспощадно отнимать у своих клиентов все, что они имеют. Будет действовать бесшумно и ловко, как японка. Она видела это в кино. Научится изощренной любви, станет выполнять любые садистские требования. Но мгновенно действующее снотворное будет всегда своевременно опущено в бокал.

У Сильвии не было комнаты, не было нарядов. Начинать с улицы не хотелось. И ей повезло. Ее взяли в переулок Гербертштрассе.

Я был в этом гамбургском переулке. Если свернуть со сверкающего, огненного Реппербан, где сосредоточены сотни ночных ресторанов, баров, публичных домов, если свернуть на малоосвещенную улицу и идти по правой стороне, минут через пять увидишь переулок, загороженный стеной. Оставлен только узенький проход — одновременно не протиснуться и двоим. С противоположной стороны — такая же стена. Ни одного фонаря, ни одной лампочки на домах. Тускло светятся огромные витрины. А за стеклом — живой товар.

Раздевшись, впервые вышла на витрину Сильвия, когда ей исполнилось семнадцать лет. Пришла сюда, полная надежд, сил и злобы. А главного, что требовалось — красоты, не было. Не было и спроса. Но зря занимать место на витрине нельзя. Место стоит денег. На нее снижали цену, пока не определилась ее реальная стоимость. Четыре года в пе-

реулке Гербертштрассе не принесли ей накоплений. И вырваться оттуда она уже не могла.

Неожиданно появилась надежда. По совету неких влиятельных лиц гамбургские проститутки подали петицию городским властям с требованием улучшить условия их жизни. Требование признали справедливым. На муниципальные деньги, то есть на средства налогоплательщиков, был построен эротический центр. Так он официально и называется. Огненными молниями бьется на Репербан это слово: «Eroszentrum». Вход с фотоаппаратами запрещен. Женщинам вход запрещен. Полутемный кривой проход под аркой ведет в огромный двор, образованный домами с однокомнатными квартирами. А во дворе лабиринты из множества хаотично расставленных тонких железобетонных ширм. Здесь идут предварительные переговоры, ведется торговля. А потом вспыхивают и гаснут одинокие огни в окнах.

Строительство эротического центра было хорошо продумано. Не всякий потребитель захочет вести переговоры где-то во дворе, за открытыми ширмами. Да и женщину нельзя заставить целыми сутками бродить в этих катакомбах. Ведь неизвестно, когда именно она потребуется, — на рассвете, среди дня или глубокой ночью. Заботясь о всеобщем удобстве, устроители «центра» создали принципиально новую и оригинальную систему, которой, как они компетентно утверждают, не имеет ни одна страна мира.

На каждом подъезде табличка с именами проживающих в нем женщин. Стоит нажать кнопку звонка, как раздвинется занавес находящейся рядом витрины и появится та, которую вызвали. Если не понравилась, можно нажать следующую кнопку, потом третью, четвертую, и будут бегать на эту витрину женщины со всех этажей, сменяя друг друга, будет снова и снова раздвигаться занавес, пока не остановится на ком-либо привередливый клиент. Если все обитательницы подъезда не придутся ему по душе, он пойдет к следующему, а когда кончатся подъезды, — к соседнему дому. Все здесь продумано до мелочей во имя удобства потребителей.

Сильвия имела право получить квартиру в эротическом центре. Это и была ее надежда. Сотни и сотни таких, как она, получили. А ей отказали. Опасались, что не сумеет оправдать квартиру. В самом деле, ведь за витрины надо платить, и за двор с ширмами, и за фигурку Эроса во дворе, да и сами квартиры, естественно, здесь намного дороже обычных. Должны же организаторы «центра» хоть как-то возместить свои потери. Нет, не зря старались некие влиятельные лица. Эротический центр приносит им бешеные доходы.

Пока он строился, Сильвия жила надеждами. И вот рухнуло все. Именно тогда и подобрал ее Брегберг. Можно предположить, что он был ее клиентом. И твердо можно сказать, что погибающая женщина,

готовая на все, чтобы отомстить людям за свою страшную жизнь, будет преданно выполнять волю своего спасителя. Уж у нее не разгуляются смазливые официантки и эта ведьма Хильда.

Сильвия превзошла ожидания Брегберга. По ее предложению началась иная жизнь в дальнем флигеле, затянутом зеленью. Там всего пять комнат. В одной жила Сильвия, а четыре бесплатно предоставлялись проституткам. Но каждый клиент оплачивал суточную стоимость номера. В среднем за сутки номером пользовались четыре клиента. Четырехкратную оплату и получала Сильвия для фрау Хильды Марии Шредер.

На номера флигеля был огромный спрос. Это и понятно. Где видано, чтобы женщина имела ключ от благоустроенного номера и решительно ничего за это не платила? И Сильвия отдавала ключ самым привлекательным, чтобы клиентов было больше.

Сильвия работала много. Она рассчитывалась с посетителями ресторана вне зависимости от того, кто их обслуживал, собирала дань с женщин из флигеля, следила за сменой белья в номерах главного здания, за чистотой, наблюдала за всем, что делается в отеле. Честно ведя себя по отношению к фрау Шредер, Сильвия все до пфеннига отдавала ей. Благодарная Брегбергу, точную сумму выручки сообщала ему.

Чтобы помочь фрау Шредер, Брегберг по утрам садился за подсчеты. По копиям счетов определял сумму, полученную с постояльцев главного здания, подсчитывал общее поступление за сутки, определял сумму платежей на предстоящий день. Итоги подсчета сообщал фрау Шредер. А она уже хорошо знала, что оставшуюся сумму надо отдать ему для передачи в кассу партии, которая ведет борьбу за то, чтобы возродились в стране старые порядки. Тогда не придется дрожать за свой отель.

Фрау Шредер догадывалась, не все он отдает в партийную кассу, а возможно, и вовсе ничего не дает, но она как-то упустила момент, когда можно решительно воспротивиться Брегбергу, те первые дни, когда он только начал забирать все доходы, а теперь уже было поздно. И, покорно отдавая деньги, она все надеялась на что-то лучшее, на какие-то перемены в ее жизни.

В первый день пребывания в отеле мне показалось, что все там очень хорошо. Правда, промелькнули некоторые странные детали, но я отмахивался от них, понимая, что они мелки и случайны. А потом все представилось в ином свете.

Даже в момент знакомства со мной фрау Шредер не могла скрыть какой-то озабоченности, даже испуга. Будто забыла сделать что-то важное. И разговаривает с вами, и улыбается, а взгляд рассеян, и мысли заняты не собеседником.

Основания для этого были. Она не могла смириться с тем, что у нее отбирают все деньги. Удавалось все-таки кое-что утаивать и от Сильвии

и от Брегберга. Из ее конторки, например, часто звонили по телефону жильцы отеля. А телефон платный. Это у нас стоит, скажем, телефон в номере гостиницы — и звони сколько хочешь. На Западе иначе. Позвонил — плати. Из конторки администрации, из собственного ли номера — все равно плати. Деньги за телефонные переговоры да и еще кое-что по мелочам она утаивала.

Когда Сильвия заметила эти нечестные поступки фрау Шредер, стала сама, не считаясь со временем, следить, сколько же раз в день люди пользуются телефоном. А такса известна — двадцать пфеннигов за разговор. Своими наблюдениями, естественно, поделилась с Брегбергом.

В общем-то суммы получались небольшими. Но Брегберг благодарил Сильвию. Ему важно было уличить Хильду в нечестности.

В отчаянии после очередного скандала фрау Шредер поделилась своими мыслями с Борбом, который ей очень сочувствовал. Сказала, что боится, как бы эти двое не сделали с ней чего-нибудь.

Борб успокоил ее, сказав, что ничего не случится. Он и в самом деле так думал. Дело в том, что Брегберг не верил, будто у Хильды нет больше капиталов. И пока он до них не доберется, ей ничто не угрожало.

Да, так вот, в тот день, когда я впервые поднимался в свой номер по круговой лестнице, образующей как бы воздушный колодец, где-то в проеме наверху увидел неподвижно стоявшего человека в жилете без пиджака и с висевшей на губе сигарой. Он стоял, засунув руки в карманы, и, не глядя в мою сторону, все-таки наблюдал за мной. Он не шевелился, глаза его не двигались, но не выпускали меня. Он следил за мной, точно человек с фотографии на стене, застывшие глаза которого устремлены на вас, с какой бы стороны вы ни смотрели на портрет.

Так впервые я увидел Брегберга.

И еще один человек в тот первый же день не мог не обратить на себя внимания. Я обедал, когда в зале возникла фигура высокой худой женщины с торчащими лопатками и рыжими волосами. У нее было злое лицо. Видимо, из-за губ. Вернее, губ у нее не было. Просто длинная тонкая полоска поперек лица.

Это и была экономка Сильвия. Она вошла, и голова ее рывками повернулась из стороны в сторону, как у куклы из мультипликационного фильма. Но за эту секунду Эрика и вторая официантка Герта успели, как по команде, поправить фартучки и шире улыбнуться посетителям. Словно дернули их за незримые ниточки, идущие от головы куклы. Они улыбнулись, и в глазах промелькнул испуг.

Ну, хорошо, подумал я тогда, этот испуг и действия девушек можно объяснить. Видимо, очень строга экономка, и они ее боятся. Но ведь скрытый испуг я видел и в глазах фрау Хильды. А она — владелица отеля. Самый главный здесь человек, ни от кого не зависимый. Почему-то

казалось, ее страх имеет отношение к человеку с сигарой на губе и злой кукле.

Их странное поведение, и сами они, и улыбки сквозь страх, и еще что-то тревожное каким-то немыслимым образом переплеталось в сознании.

Но вот исчезла кукла, приветственно загудели друг другу два белых теплохода на Рейне, которые мне были видны из окна, пробежала сияющая Эрика: «Не надо ли еще чего-нибудь?» — и я разозлился на себя за свои мысли. Вздор! Очень хорошо здесь.

А потом... Потом я слушал Генриха Борба. Слушал и наблюдал.

Рабочий день в отеле фрау Шредер — семь часов. И три перерыва. По часу на завтрак и ужин и четыре часа на обед. Начинается рабочий день в семь утра, заканчивается в восемь вечера. Это официально.

В течение месяца проживания в отеле мне порой приходилось оставаться на весь день в номере. Ни разу я не видел, чтобы этот порядок соблюдался. По словам Борба, перерывы делаются на те короткие минуты, в которые физически можно успеть наскоро поесть. И не тогда, когда хочется есть, а когда нет посетителей. В зависимости от обстановки перерыв на обед бывает и в двенадцать дня, и в три часа, и в шесть вечера. Порой допоздна даже на ходу нет возможности перекусить.

Фактически никогда рабочий день официантки не кончается раньше часу ночи. А Борб на своем посту круглые сутки.

— Ничего не поделаешь,— говорил он мне. Наш отель находится на магистрали, связывающей многие города. Сотни километров она идет вдоль Рейна. И по всему побережью — вот такие же маленькие отели. Надо выдержать конкуренцию. Надо поразить услужливостью. Чтобы об удобствах и обслуживании шла молва. Чтобы человек заехал еще раз. От края и до края городка в обе стороны от отеля резвешена реклама. Посетитель понимает: плохонький отель не в состоянии дать такую рекламу. И надо, чтобы его ожидания оправдались.

Поэтому я встречаю машины только бегом и широко улыбаюсь: богатые туристы любят, чтобы их вот так встречали. Я тащу их тяжелые чемоданы по крутым лестницам, но никто не даст и пфеннига: немцы знают порядок — за обслуживание фрау Шредер впишет в счет десять процентов. Я протираю все машины, и это тоже входит в десять процентов. В других отелях у служащих не отбирают чаевых, но у нас такое условие с Брегбергом — обслуживание моя обязанность. За это я получаю жалованье. Если иностранец, не знающий наших порядков, даст мне марку, я, конечно, отдаю ее фрау Шредер. Но все равно Брегберг думает, будто я ворую деньги, то есть оставляю их себе. Я вас уверяю — раз

такая договоренность, я ее выполняю, и напрасно он подозревает меня.

Борб говорил, точно оправдываясь:

— Я работаю очень добросовестно. Поднимаясь с вещами по лестнице, смотрю в окна гостинничных проемов, не подходят ли машины? И мчусь обратно, как циркач. Только бы успеть встретить клиента и широко ему улыбнуться.

И ничего не поделаешь, — вздохнул он. — Для приезжих ведь нет определенных часов. Они являются и глубокой ночью, и на рассвете. И никто в этом не виноват. Обида у меня на Брегберга за другое, а тут уж ничего не поделаешь. Приходится ночью не раздеваться. Хотя в доме у меня есть угол и постель, но я дремлю на диванчике у входа. Вы видели этот диванчик. Маленький, конечно, но спать можно. И опять Брегберг прав — подушку приносить не стоит. Если вдруг прозеваю посетителя и он увидит подушку, останется неприятный осадок.

Впрочем, хозяин зря беспокоится. Я сплю чутко, вздрагиваю при любом шорохе: не прозевать бы момент, когда в воротах блеснут фары. Я вскакиваю ночью от шума проходящих мимо машин и начинаю улыбаться. И знаете, — неожиданно рассмеялся он, — это я сам такой ненормальный. Мог бы спокойно спать. Я научился сквозь сон точно определять, к нам идет машина или мимо. Так нет же, вскакиваю. Сколько раз я себе говорил: «Лежи, Генрих, это, слава богу, не к нам» — и всегда оказывалось, что я прав, а улежать на месте, когда поблизости раздается сигнал автомобиля, не могу.

Меня удивляли рассуждения Борба. Чудовищные условия труда он объяснял то конкуренцией между отелями, то ночными приездами людей, то прямо принимал вину на себя. Неужели не видит, кто заставляет его так много работать? — И я спросил, за что же он в обиде на Брегберга.

— Трудно объяснить, — замялся Борб. — Понимаете, никогда не известно, что он скажет и как поступит в следующую минуту. Пока ездит по своим делам, на душе спокойно. Но вот появляется его машина, и не знаешь, как вести себя. Вчера, например, встретил его с улыбкой, а он смотрел так, будто я провинился. «Ты еще улыбаешься! Тебе весело, да? Лучшего нашего постоянного клиента не мог проводить в номер». — Он сказал это и ушел. А я, даю вам слово, даже не понял, о ком он говорил.

Сегодня утром я уже побоялся улыбнуться ему. Просто поздоровался. Так знаете, что он сказал? Уставился на меня злыми глазами, а потом говорит: «Послушай, Борб, если тебе не нравится твой хозяин, можешь искать себе другое место... А я не привык, чтобы меня встречали, как шофера». Понимаете, само его присутствие приводит всех в трепет. В нервном напряжении находится весь дом. И знаете, — понизил он го-

лос до шепота, — я думаю, все дело в том, что сам он чего-то боится. И его напряжение передается другим.

— Конечно, — покорно вздохнул он, помолчав, — если бы на мне лежали только обязанности встречать людей, было бы не так уж трудно. Но в шесть утра я начинаю подметать дорожки парка, протирать стекла фонарей и всю светящуюся рекламу. И урны не станешь выносить при людях. Цветы и траву полить тоже надо рано. И всегда скапливаются дела, которые дает садовник. Кажется, какие там дела? Он приходит всего один раз в месяц на два часа, но столько оставляет пометок на ветках, которые надо отпилить, столько помечает кустарников, которые надо подстричь, что я удивляюсь, как он успевает за два часа все это увидеть. Опытный глаз, ничего не скажешь.

— И все-таки самое главное — машины, — Борб обращался ко мне, но смотрел в землю и рассуждал, будто для самого себя анализировал свои дела. — Самое главное — машины. Хорошо, если они появляются, когда подстригаю траву, разгружаю пиво или белье, привезенное из прачечной. Ну, если на дереве пилю ветку? Или нахожусь на третьем этаже? Приходится бежать сломя голову. И ничего не поделаешь.

Борб не преувеличивал. Я все видел сам. Меня только поражала покорность, с какой он говорил и работал. Тогда я еще не знал, как он попал сюда, и не знал, что другого выхода у него не было.

Не меньше Борба работали и официантки. Если нет посетителей, они начищают медные ручки дверей, настольные лампы, протирают окна и стены, чтобы меньше осталось работы на ночь. Если в течение дня им удается все сделать, после закрытия ресторана они только пылесосят ковровые дорожки и один раз проходятся по паркету электрощеткой. Об их работе тоже рассказывал Борб.

— У нас очень много посуды, — объяснял он мне. — И подают все время чистую, а грязную складывают в специальные коробы. За нее берутся официантки, когда некого обслуживать. Моют и посматривают на лестницу, не идет ли кто. И бросаются навстречу, едва успев скинуть халат. Бегут на второй этаж в ресторан, уже на лестнице готовя радостную улыбку. Это муштровка Брегберга и Сильвии.

О своей работе Борб рассказывал беззлобно, обреченно. А девушек ему было жаль, и говорил он яростно.

— От кухни до зала всего двадцать три ступеньки, но вы знаете, какие они крутые. А теперь подсчитайте. За день официантки поднимаются раз сто. Значит, две тысячи триста ступенек и, учтите, с тяжелыми подносами. Они ведь совсем дети. А когда туристский сезон начинается, когда в парке разворачиваются автобусы на семьдесят пять мест? Стоит им только показаться в воротах, как во всем отеле будто включили маховики. Мечутся вверх-вниз девчонки, заранее все подготавливая. Только бегом. По лестнице — бегом, по коридору — бегом. На подхо-

дах к залу надо успеть перестроиться. Надо войти быстро, но плавно и с сияющей улыбкой. А обратно, едва закроется дверь, снова бежать. Они бегут вверх, заранее улыбаясь, а вниз — расслабляя мышцы лица. Если, конечно, навстречу не идет посетитель. Но мышцы рук, ног, всего тела расслабить не могут. И так целый день и каждый день. До глубокой ночи, до кровавых шариков в глазах.

— Но ведь так не может быть постоянно, — перебил я Борба. Бывает же, что и вовсе нет посетителей, и ничего они не делают. Я сам видел.

— Бывает, согласился он. — И если все уже перемыто, перечищено, пропылесосено, заготовлено впрок, если уже совсем-совсем нечего делать, что случается исключительно редко, в отеле всегда найдется работа. Но повторяю, если уже совсем нечего делать, девочки отдыхают, не имея права отлучиться. И эти часы отдыха с точностью до минуты учитывает Сильвия. Они идут в счет тех часов, когда девочки ложатся в три или четыре ночи. Ведь ресторан не закроют, пока не уйдет последняя подвыпившая компания, хотя формально он работает до часу ночи.

Наш разговор происходил в один из выходных дней Борба у ворот отеля, где мы ждали машину. На этот раз я ехал к нему в Дюссельдорф. Точнее, к его брату Вольфгангу. Борб давно хотел познакомить меня с ним, ибо не мог ответить на многие мои вопросы. И каждый раз говорил: «О, это вам отлично объяснит Вольф. Он знает больше энциклопедии».

Вольфганг — инженер, получивший серьезную травму на заводе и вышедший на пенсию по инвалидности. Судя по рассказам Борба, он не может смириться с тем, что ему нечего делать. Он читает все газеты, журналы, справочники, рекламные издания. Ходит на митинги, судебные процессы, посещает любые бесплатные зрелища. По словам Борба, он может рассказать, что произошло в доме чемпиона по боксу после его поражения, какова тенденция на рыбном рынке Японии, каких успехов добилась глазная хирургия, что побудило Жаклин Кеннеди выйти замуж, — ну, буквально все, о чем вы его спросите.

Я встречался с подобными людьми и заметил: их собственная точка зрения на события может быть даже абсурдной, но фактические данные у них обычно верные.

Мне хотелось поехать к Вольфгангу. Главным образом потому, что весь день проведу с Борбом и удастся, наконец, поговорить не урывками, как это было до сих пор. И если еще Вольфганг окажется интересным человеком, значит и вовсе день пройдет отлично.

Машина опаздывала. Борб забыл что-то взять и пошел в свою комнату, но тут же вернулся.

— Пойдемте со мной, — предложил он, — посмотрите, как я живу.

Я тогда подумал, что он очень рискует. Но, как он потом объяснил, на этот раз риска не было: Брегберг уехал на весь день в какой-то город, и Сильвия ушла по своим делам.

К удивлению, Борб повел меня в главное здание. Впервые я поднялся выше второго этажа, где находилась моя комната. Из коридора мансарды внутренняя лестница, крутая, почти отвесная, но с перилами, вела на чердак. Это был обычный чердак, только чистый, не захламленный. Свет шел из двух круглых окошек, похожих на иллюминаторы. Между высокими деревянными опорами стояли кирпичные трубы водяного отопления. Они были холодными, и не от них стояла здесь ужасная духота. Как объяснил Борб, в этот ранний час здесь рай. Днем чердак нагревается до такой степени, что войти невозможно.

Между трубами натянута длинная занавеска. А по обе стороны ее — постели. Справа — Эрики и Герты, слева — кухонного рабочего и Борба.

— Вот так мы живем, — сказал он. — Даже у девочек нет коек. Только матрацы и одна тумбочка на двоих... Нет, постельное белье и легкие одеяла есть, вы не смотрите на газеты, ими укрывают вещи от пыли. С этой проклятой крыши все время что-то сыплется... А теперь смотрите сюда...

Но я никуда больше не мог смотреть. Никак не думал, что он привел туда, где живут официантки. Что-то пробормотав, я заспешил к выходу. Он, видимо, понял, что поступил не очень тактично, шел сзади, на ходу продолжая:

— Можно, конечно, и не смотреть, ничего интересного. Там кошки. Их очень любит Сильвия. Иногда она берет двух-трех к себе, но живут они здесь.

Уже в машине Борб сказал:

— За жилье мы платим по сорок марок в месяц. Вы скажете — дешево. Согласен. Вы за одни сутки платите здесь такую же сумму. Но для девочек — очень дорого. За питание с них берут сто двадцать марок в месяц, это выходит четыре марки в день. Вы опять скажете — дешево, я вас понимаю. Если вы едите скромно, в нашем скромном отеле за один обед, естественно, без вина, вы платите двенадцать — пятнадцать марок. Но вы посчитайте их бюджет. В месяц они получают по двести шестьдесят марок. Двадцать и две десятых процента составляют налоги и социальное страхование. Это значит, пятьдесят две марки и пятьдесят два пфеннига. Так? Теперь прибавьте сорок — жилье и сто двадцать — питание. Сколько получается? Двести двенадцать с половиной марок. Сколько остается у них? Подсчитали? Сорок семь с половиной марок. А у Герты нет отца и большая семья, которой надо помогать... Да и одеться же им надо!

Конечно, — вздохнул он, — живи они дома, в Бад-Годесберге, ни за квартиру, ни за питание платить не пришлось бы. Но работы для них там нет... И еще я вам скажу. Они могли бы покупать продукты и не питаться на нашей кухне. Тоже вышло бы дешевле. Но фрау Шредер не разрешила. Боится, что будут доедать остатки с тарелок и все равно питание получится за ее счет... Возможно, она и права.

Я сказал Борбу, что в каком-то справочнике вычитал, что официант получает от пятисот марок и выше. Почему же двести шестьдесят?

— Так то официант, — развел он руками. — А женщина, как известно, в нашей стране получает значительно меньше мужчины. Не говоря уже о том, что в большинстве ресторанов женщину вообще не возьмут в качестве официантки. Это во-первых. Во-вторых, Эрика числится не официанткой, а ученицей. Правда, она уже три года была ученицей точно в таком отеле и, как только кончился ученический срок и надо было повышать жалованье, ее уволили. К нам ее взяли опять ученицей. Она выбивается из сил, надеясь через три года стать официанткой. Но ее уволят. И если дадут хорошие рекомендации, она, возможно, устроится где-нибудь, но только ученицей. Вы не найдете ни одной официантки вдоль всего Рейна, которая проработала бы ученицей меньше десяти лет. Таким образом, к официальным данным сделайте поправку.

У меня не было фактов, чтобы возразить ему. Единственное, в чем усомнился, это в сумме налогов. Почему так много? И что за налоги?

— О, сложная система! — улыбнулся Борб. — В ней трудно разобраться. Но что она означает практически, я могу вам объяснить. Ну, скажем, так: заболел человек. Или проще — роды. Они стоят тысячу триста марок. Аппендицит — тысяча марок. Грипп можно уложить в четыреста—пятьсот, а не дай бог инфаркт — клади на стол шесть тысяч. А теперь считайте. Слесарь или токарь на строительстве получает от семисот до тысячи марок в месяц. Думаю, что и в других областях — примерно столько же. Разве они могут болеть? А те, кто получает шестьсот марок? Этим и вовсе не осилить лечение. Но многие живут на триста и меньше марок. Эти даже насморк не имеют права получить. Не правда ли? Как же быть? — спросил Борб, точно я должен дать на это ответ.

Очень просто, — сказал он, помолчав. — С первого дня работы и до конца жизни с человека удерживают на больничную кассу. И если он заболеет, платит лишь от двадцати до тридцати процентов стоимости лечения. Остальное берет на себя больничная касса. Вот вам первый налог. Его удерживают и с того, кто за всю жизнь ни разу не болел. Эрика, например, платит шесть процентов больничных, я — восемь. Причем, заметьте, эта система заставляет человека скрывать болезнь, переносить ее на ногах, пересиливать себя до последней возможности, ибо и двадцать процентов (это при пользовании больницей и поликлиникой третье-

го разряда) да еще плюс одна марка за каждый рецепт — деньги немалые.

Столь же подробно, как о больничном налоге, Борб рассказал о пенсионном. Всю жизнь с работающего удерживают на пенсию. Государство же не может из своих средств оплачивать все пенсии. Ежемесячно идут удержания на страховку от безработицы, от несчастных случаев, на помощь жертвам войны, на социальное попечительство, на церковь и многие другие нужды.

— И Эрика платит эти налоги, — закончил Борб, — и Герта, и я. Ну, я все-таки прилично зарабатываю, около восьмисот марок, и у меня нет семьи. А девочкам не под силу.

— Так почему же они торчат здесь? — не выдержал я. — Шли бы на производство, где нормальный рабочий день, где нет этой системы бесконечного ученичества и нет затхлой обстановки вашего отеля!

— Успокойтесь, успокойтесь, — похлопал он меня по руке. — Вам легко рассуждать. Вы на все смотрите со стороны. Почему не идут на производство, я вам покажу на своем примере. Это длинная история, но вам станет ясно, почему и я «торчу» здесь, как вы выразились.

До Дюссельдорфа оставалось километров двадцать, а мне хотелось до конца выслушать Борба. Я предложил остановиться у ближайшего кафе и выпить по чашечке кофе. Борб понял меня. Но я видел, и ему хотелось излить душу.

В придорожном кафе, куда мы вошли, не было ни одного посетителя.

— Рады вас видеть, — сказал официант, любезно улыбаясь.

Когда он принял заказ и ушел, Борб сказал:

— Вот видите, везде одно и то же. Кстати, не обратили ли вы внимание на такие вот кафе? Они на каждом шагу. И почти всегда пустые. Как же не прогорают владельцы?

— Борб задавал вопросы и тут же на них отвечал.

— В том-то и дело, — сказал он, — что рабочая сила в таких заведениях дешевая, потому что каждый работает по многу часов, а разница между оптовыми ценами и розничными огромна. Не думайте, что пока здесь никого нет, официант сидит сложа руки. Работы везде хватает. Та же картина в гостиницах. Свободных номеров больше, чем занятых, но хозяевам все равно выгодно. Уж где-где, а в отелях каждый работает за двоих, при наплыве туристов — сутками. И конечно же, ни пфеннига дополнительной оплаты.

Мы пили кофе, и Борб рассказывал.

По возвращении из плена он довольно быстро нашел себе приличную работу в Дюссельдорфе. Хотя по образованию он техник, но богатый опыт и усердие помогли ему занять инженерную должность.

Товарищи по работе, естественно, интересовались его пребыванием в Советском Союзе, и он охотно делился впечатлениями. Видимо, говорил не совсем так, как надо было. Его уволили, не предъявив никаких претензий.

Полтора года не мог найти работу. Вот уже как будто и берут и все вроде решено, и вдруг — нет вакансии.

— С тех пор, — с горечью говорил Борб, — точно чумной штамп на лбу поставили.

Никто не хотел с ним разговаривать. Шесть лет перебивался случайными заработками. Летом уходил на сельскохозяйственные работы, год плавал на рудовозе, имел только временную работу, пока не наткнулся на объявление о массовом наборе на строительство завода. Это была все та же строительная фирма, где он работал после войны, фирма, имевшая отделения по всей стране.

Вопреки ожиданиям, его взяли. В качестве каменщика. Борб был рад. Во-первых, строительство рассчитано на три года. Во-вторых, каменщиков надо мало, в основном сооружения делались сборными. Если усердно работать, а главное — молча, увидят. Могут и повышение дать.

Условия работы хорошие. Пятьдесят минут работать, десять минут — перекур. Каждому рабочему в конце недели на его рабочее место приносят в конверте зарплату.

В первую получку едва ли не половина рабочих, кроме денег, получила письмо: «Фирма благодарит вас. Фирма в ваших услугах больше не нуждается». А фактически очень нуждалась. Рабочие сами разобрались, в чем дело. Уволили тех, кто курил или разговаривал в неположенное время. Вместо уволенных пришли новые, часть из них иностранцы. С трепетом ждали конца недели. И снова благодарность. И снова: «Фирма в ваших услугах не нуждается...»

Но почему? Ни один человек не закурил, не произнес ни слова, не связанного с работой.

— Я-то знаю, почему меня, — сказал один из уволенных. — Температурил, очень медленно работал, голова кружилась.

— Видимо, и меня за это же, — сказал второй, хотя я не болен. Дома большие неприятности, думал об этом, видимо, отвлекался.

Борб рассказывал:

— Самый радостный день у рабочего человека — получка. Третью получку ждали, как приговора. И опять то здесь, то там повисшие руки, опущенные головы: «Фирма в ваших услугах не нуждается».

На этот раз пришел представитель фирмы.

— Здесь не курорт, — проинформировал он рабочих спокойным тоном. — На все ваши дела вам дается десять минут ежечасно. А пятьдесят минут надо работать. Интенсивность вашего труда фирму не устраи-

вает. Ваша работа и впредь будет контролироваться телевизионными камерами. Есть вопросы?

Люди молчали. Он уже собрался уходить, когда раздался голос:

— Может быть, на сдельную перейти? Сколько заработаешь, столько получишь. Все будут стараться.

— Фирма считает целесообразным тот порядок, который она установила. Еще рекомендации фирме есть?

Борб умолк. Допил оставшийся в чашечке кофе и снова заговорил:

— Вы не представляете, как мы после этого работали. Вы видели фильмы Чаплина? Так вот, там был отдых по сравнению с тем, что делалось у нас. Пятьдесят минут выматывали так, что уже и курить не хотелось. По сигналу на перерыв люди падали. Но стоило снова раздаться сигналу, вскакивали, будто отпущенная пружина. И все равно над нами висело: «Фирма в ваших услугах не нуждается». Время от времени все же появлялись кое у кого эти страшные листки в конвертах. Чтобы мы не забывали: за нами следят.

Все время под наблюдением. Ты знаешь, что на тебя смотрят. Каждую секунду смотрят. Контролируют каждое движение, каждый шаг. Боишься достать носовой платок. Ты подопытное животное. Ты заведенный механизм. Только бы хватило завода на пятьдесят минут, чтобы расслабить мышцы. Никаких мыслей. Они отвлекают. Только одна. Как пожарная сирена, как сигнал бедствия: «Фирма в ваших услугах не нуждается».

Генрих Борб решительно обходил вопрос, как попал к Брегбергу. Прямо спросить было неловко, а от косвенных вопросов он уходил. Однажды мы близко подошли к этой явно неприятной для него теме. Не помню уже, в какой связи, но он только зло сказал: «Конечно, Сильвия измывается над девочками, не упустит случая вежливо уколоть фрау Шредер, но всех в руках держит Брегберг. Сильвия боится, что он выдаст ее прошлое, фрау Шредер боится, как бы он не отобрал у нее отель, все его боятся».

— А вы? — спросил я.

— А я в особенности. — И умолк. И больше ни слова.

Значит, были у него основания бояться Брегберга. Но и тогда в тоне не слышалось протеста. А вот в придорожном кафе, рассказывая о своей работе на стройке, он буквально кипел. И неожиданно сник. Будто выдохся. Обреченно сказал:

— Случилось то, что должно было случиться. И в моем конверте с деньгами оказалась эта бумага. Отличного качества бумага, глянцевая, атласная, с гербом фирмы. Можно было не разворачивать ее, но я развернул. Я увидел каллиграфически выведенные слова, отпечатанные типографским способом, как на визитных карточках: «Фирма благодарит вас за работу. Фирма больше в ваших услугах не нуждается». И чтобы

никаких сомнений не осталось, кому это адресовано, сверху от руки было написано: «Уважаемый господин Борб!»

Он потянул из чашечки гущу. Я хотел заказать еще кофе, но Борб решительно отказался. Молча жевал кофейные крупинки. Видно, думал все о том же. После долгого молчания заговорил:

— Я ждал этого, ждал каждый раз, когда брал в руки конверт. Каждый раз останавливалось сердце перед тем как вскрыть его. Так продолжалось полтора года. Все-таки восемнадцать месяцев они меня держали. И когда получил наконец эту благодарность, подумал: да, они правы, я уже не могу работать так, как в первые месяцы.

Полтора года, пока ждал увольнения, понемногу копил на черный день. Да, кое-что у меня оставалось, ведь к тому времени жена ушла от меня, а детей бог не дал. Я не обижаюсь на жену, она меня любила и всегда была верна мне. Знаю, что у нее самой разрывалось сердце. Но что ей оставалось делать, если я столько лет был безработным. Правда, мне потом говорили, что всю жизнь она меня обманывала, но я в это не верю...

— Поедемте, — неожиданно поднялся он.

Чем кончилась его история, я узнал лишь на обратном пути. Чтобы не прерывать рассказ, приведу его здесь.

Ненадолго хватило Борбу его сбережений. Потеряв надежду найти работу, он стал бродяжничать. И однажды на улице в Дюссельдорфе лицом к лицу столкнулся с Брегбергом.

— Как? Тебя не убили на фронте? — поразился тот.

Узнав о бедственном положении Борба, сказал:

— Я могу предложить тебе постоянную работу, но не прежде, чем сам узнаю, за что тебя уволили. Приезжай дней через пять. И он оставил адрес отеля фрау Шредер.

Брегберг взял его на работу, предупредив:

— Твоя инженерная карьера, как ты понимаешь, рухнула из-за твоей коммунистической пропаганды. В свое время я спас тебе жизнь. Но если увижу, что совершил ошибку, сумею ее исправить.

Борб понял, о чем идет речь. И угроза не показалась ему страшной, потому что это явное недоразумение. Он вовсе не собирается заниматься пропагандой. Он будет работать день и ночь молча. Только бы спокойно жить и не ждать каждую неделю этих конвертов.

Так Борб стал служащим отеля фрау Хильды Марии Шредер. Вскоре, однако, понял, что угроза над ним висит. У Брегберга время от времени собирались какие-то штатские с военной выправкой. Борб старался их не замечать. Однажды Брегбер сказал:

— Послушай, Борб, сегодня у меня будут друзья. Если кто-нибудь узнает об этом, я исправлю свою ошибку. Ты меня понимаешь, надеюсь?

Борб понял. Взволнованно сказал:

— Само собой разумеется, господин Брегберг, я никому ничего не говорю, это не мое дело, и я ничего не знаю. Но, господин Брегберг, узнать ведь могут и помимо меня.

— Вот-вот, об этом я и думаю. Будь начеку. Следи, чтобы никакая сволочь не совала сюда рыло.

С тех пор Борб потерял покой. Он стал соучастником какого-то дела, о котором не имел понятия. А Брегберг все прибавлял ему забот. Велел внимательно следить, не появился ли возле отеля какой-то однорукий. Каждый раз, выходя из дому, спрашивал: «Ну что, не появлялся однорукий?» Он явно боялся этого человека. Видимо, опасался, как бы тот не узнал, что Брегберг находится здесь.

И вообще Борбу было трудно. Он жалел фрау Шредер, над которой садистски издевался Брегберг. Недавно поздно вечером, когда жизнь в доме затихла, к ней подошла Сильвия и, растягивая слова, потупив глаза, сказала:

— Фрау Шредер, господин Брегберг просил передать, чтобы вы не запирали двери, он вернется часа через два. У него некоторые дела ко мне, он будет у меня.

— Я стоял у входа, — рассказывал Борб, — и не слышал этого разговора. Только услышал, когда ушла Сильвия, что фрау Шредер плачет, и бросился к ней. Она уже меня не стеснялась.

— Зачем он посылает ее? — всхлипывала женщина. — Я ведь и так знаю, что он ходит к ней. Это она настаивает, рыжая. Это чтобы угодить ей.

Борб, однако, был на этот счет другого мнения, которого, конечно, вслух не высказал. Брегберг не станет угождать Сильвии, она сама его боится. Значит, измываясь над фрау Шредер, он преследовал другие цели.

Все это остро переживал Борб, как и издевательства Сильвии над девочками, особенно над Эрикой. Сильвия не могла простить Эрике, что она хорошенькая. И тяжко приходилось девчонке, если при Сильвии ей делали комплимент. Уж в такой день Сильвия отыгрывалась на ней. Брезгливо кивая на какую-нибудь тарелку, говорила: «Наверное, все такие грязные, перемой», — и показывала на гору только что вымытой посуды. Сама не спала, но Эрику заставляла работать всю ночь.

Эрика не могла противиться Сильвии. Положение девушки было почти безвыходное. Ее отец — плотник. Все знали: на плотника Керна можно положиться: у него маленькая мастерская, и он прилично зарабатывал. Не настолько хорошо, чтобы накопить солидную сумму, но кое-что оставалось. И вот года три назад он строил свинарник. Ему помогал сын заказчика. Этот растяпа не удержал бревно, и оно ударило Керна в

грудь. С тех пор ему трудно работать. И чем дальше, тем хуже. Последние полгода уже ничего не может делать.

В социальном отношении Керн находится в одной группе с владельцами заводов, фабрик, банков, универсальных магазинов. По закону пенсия им не положена, как лицам, ведущим самостоятельный род деятельности. Керн тоже вел самостоятельный род деятельности, поэтому пенсия не положена ему. Правда, из восьми миллионов человек, входящих в эту группу и не имеющих права на пенсию, подавляющее большинство таких, как Керн, мастеровых, лоточников, торгующих сосисками или другой мелочью. Но Керну от этого не легче.

Среди его заказчиков были и довольно влиятельные лица. Они всегда оставались довольны его работой. Они-то и пообещали устроить ему пенсию. Правда, пенсия по старости ему будет положена ровно через двадцать лет, когда стукнет шестьдесят пять. А пока он надеется на пенсию по инвалидности. Это сто двенадцать марок. Все-таки подспорье. Ведь только за квартиру надо платить четыреста шестьдесят. Конечно, он бы не стал такие деньги платить, но при этой квартире длинный коридор, где он работает. А зачем ему теперь мастерская? В конце концов послушая жену, и они переехали. Две маленькие комнатки, как коробочки, зато — двести восемьдесят. Для них даже это дорого, но что поделаешь. С тех пор как в шестьдесят четвертом году были отменены ограничения на квартирную плату, домовладельцы совсем посходили с ума.

И вот при таком положении в семье может ли капризничать Эрика! Борб понимает, надо смириться. Но ему жаль Эрику.

Все это он рассказывал на обратном пути из Дюссельдорфа. А почти весь день мы провели у Вольфганга. Он на три года старше Генриха, тучнее, солиднее, и тем не менее похожи они друг на друга, как близнецы. Похожи не только лица. Манера говорить, голос, жесты — все одинаково. Только Вольфганг немного увереннее держится. Может быть, потому что не так изломан жизнью.

Их отец был врачом. Судя по всему, один из тех бескорыстных и честных людей, которые трезво оценивали обстановку в стране, но были не способны к борьбе. И он просто сам, по мере возможностей, помогал людям жить. Сыновьям сумел дать образование и не сумел оставить наследство. Это был человек, интересовавшийся далеко не только своей профессией. Гордился, как выразился его сын, «техническим гением» немцев и поражался «исторической тупостью и авантюризмом» их политиков. Видимо, многое от отца перешло к Вольфгангу.

После первых же вежливых фраз, вроде: «Генрих мне много говорил о вас, рад познакомиться», он выложил свое кредо. Во-первых, не будь Гитлера, проклятой войны и поражения, еще не известно, кто пер-

вым оказался бы в космосе. И во-вторых, он отнюдь не является сторонником коммунистического режима.

Однако под многими его суждениями, думаю, подписался бы и коммунист. Видимо, этим словом так запугивают население, что порой, не понимая смысла, люди страшатся его. И кое-кто думает: уж если появится советский человек, тут же, с ходу приступит к коммунистической пропаганде.

Хочется здесь отметить одно обстоятельство. Мне кажется, и у нас не все правильно оценивают западных немцев. Мы часто пишем о реваншистских настроениях в Западной Германии, имея в виду определенные круги. В массе же западные немцы удивительно тепло и дружелюбно относятся к советским людям. В подтверждение я не могу привести каких-либо глобальных примеров. У меня их просто нет. У меня есть мелкие факты, но их много. Ну вот, например, такие.

В вагоне-ресторане я обедал в обществе трех незнакомых мне и друг другу немцев. Разговор шел в пределах: «Будьте любезны, соль». К концу обеда один из них закурил. Я сказал, если ему это безразлично, хотел бы поменяться с ним спичками, объяснив, что мой товарищ коллекционирует спичечные этикетки, которые, оказывается, о многом говорят не меньше, чем почтовые марки. В его альбомах есть уже, наверное, этикетки со всего мира. А вот таких, по-моему, нет.

Предварительно я посмотрел на свои спички, нет ли в них пропаганды. Пропаганда была. Этикетка призывала нас бороться. Бороться с сельскохозяйственными вредителями. Правда, было не исчерпывающе ясно, изображен ли вредитель или агрегат для его истребления, но это, я подумал, выясню дома, как только приступлю к борьбе.

Немец охотно согласился и спросил, действительно ли я из Советского Союза. Ответ обрадовал всех троих. Второй сосед, улыбаясь, протянул мне свою коробочку. В подарок товарищу. Третий извинился, показав зажигалку. И, спохватившись, потребовал спички у товарища, сидевшего через стол от него, объяснив, в чем дело.

И тут произошло то, чего предусмотреть я никак не мог. Мне понесли спички. Слова «Да что вы, не надо, ну зачем же!» не помогали. Я увидел, что даже из-за дальних столиков поднимаются люди со спичками. Надо было немедленно остановить это массовое движение. И я сказал:

— Извините, у меня есть еще один приятель, так тот коллекционирует золотые часы...

Шутку поняли. Меня пощадили. Но у нашего столика сгрудились люди. То, что происходило дальше, было похоже на обычную пресс-конференцию с той лишь разницей, что мне не задали ни одного злобного или каверзного вопроса.

Есть такие читатели, которые скажут: «Ну, и что?» Я отвечу. Ничего,

конечно, особенного. Но я видел их лица и их глаза. Это были не те улыбки, за которые получают зарплату или чаевые. Улыбки друзей.

Еще пример. Тоже связанный с поездом. Во Франкфурт-на-Майне я приехал в двенадцать ночи. Шел дождь. Я был убежден, что меня встретят трое моих товарищей, которые уже несколько дней находились там. Никто не встретил. Мысленно сказав в их адрес подобающие для такого случая слова, решил переночевать в ближайшем отеле, а утром искать их. И тут же отказался от этой мысли. Я сошел на главном вокзале, а встречают меня, видимо, на другом. Они точно знают, что я выехал, и увидели, что не приехал. Едва ли мои друзья пойдут спать.

Что делать ночью, в дождь в огромном чужом городе, куда в тот раз прибыл впервые, придумать не мог. Наугад подошел к группе немцев, стоявших в людном зале, похожем на ангар, и спросил, не посоветуют ли они, как поступить. Горячего отклика не последовало. Напротив, на их лицах было: «Ну и чудак! Как же найти, если ничего не известно». К сожалению, произношение выдавало во мне иностранца. Кто-то спросил, из какой я страны. Услышав ответ, люди преобразились. Каждый начал предлагать свой план поисков. Одного из них настойчиво звала жена, сидевшая на скамье, и он отмахивался, пока она не подошла. «Это русский, понимаешь, — шептал он, — надо ему помочь...» Дальше я не слышал. Видел, как, одобрительно кивая, она удалилась.

Я так и не понял, какой план был принят. Попросили меня никуда не уходить и исчезли. Вскоре вернулись сияющие. Говорили все сразу. Действительно, мои друзья оказались на другом вокзале. Не встретив меня с поезда, решили: одному вернуться в отель для связи, второму оставаться на месте, третьему ехать на центральный вокзал. Вот-вот явится. Все это сказал им по телефону тот, кто вернулся в отель. По фамилии моих друзей немцам удалось узнать, в каком отеле они остановились, и тут же позвонить.

Радовались немцы больше меня. Это была радость людей, с большой симпатией отнесшихся к советскому человеку и с готовностью пришедших на помощь.

Факт, конечно, не масштабный. Может быть, случайный. Вполне возможно, наткнись я на других людей, не встретил бы дружеской помощи. Но все дело в том, что лично мне вот эти «другие» не попадались. Вернее, с такими у меня были только официальные встречи, и там улыбки другого характера. В них еще надо разбираться. А искреннее дружелюбие видел на каждом шагу.

Но я отвлекся от Борба, а мне хочется закончить его историю. Уже в первые полчаса пребывания у Вольфганга стало ясно, что он исчерпывающе информирован о жизни в отеле фрау Хильды Марии Шредер и о моих беседах с Генрихом. А тот как бы немножечко гордился тем,

что привез гостя из Москвы. Вел себя подчеркнуто непринужденно, всячески демонстрируя наши с ним хорошие отношения.

— Вольф, ты представляешь, — говорил Генрих, — он удивляется, почему Эрика не идет на производство. Объясни этому человеку, почему. Объясни так, чтобы понял. Я вижу, мои объяснения ему недостаточны.

— Неубедительны, — согласился я. — Понимаете, меня ведь частности не интересуют. Да, в отеле Шредер работать тяжко. Брегберг, Сильвия да и Шредер тоже со своими сложными отношениями и темным прошлым создали невыносимую обстановку и каторжный режим. Но такой отель — исключение. И никаких выводов о жизни в стране по этому примеру делать нельзя. Картина на стройке, которую нарисовал Генрих, ужасна. Но из этого следует лишь, что данная фирма безжалостно относится к своим рабочим, и вовсе не следует, что это характеризует жизнь всех рабочих.

— Так, так, так, — нетерпеливо поддакивал Вольфганг.

Я умолк.

— Говорите, говорите, я вам на все сразу отвечу.

— Пожалуйста. Конечно, в Руре есть законсервированные шахты и старые закопченные заводы. Но я видел много новых, сверкающих алюминием и стеклом, а поблизости поселки с красивыми, как игрушки, коттеджами, и возле них машины. Поселки эти явно для рабочих и служащих. Я знаю, что у вас ежегодно вступают в эксплуатацию тысячи домов. Нетрудно догадаться, что не все они для банкиров. Уровень производства очень высок. Каждый пятый человек в стране имеет машину. Я видел как перед выходными днями вереницы машин, часто с домиками на прицепе, идут на юг, к берегам рек.

— В общем — рай, — рассмеялся Вольфганг. И, немного помолчав, очень серьезно добавил: — Да, у немцев есть чему учиться. Я не знаю, на какой высоте мы были бы, не будь проклятого Гитлера. Вот говорят: «экономическое чудо». Но мы знаем, чудес не бывает. Я вам сейчас объясню, как создается чудо. Посмотрите, — подошел он к столу, заваленному журналами, газетами, книгами. — Вот «Шпигель». В любом киоске он стоит полторы марки. Вы думаете, я плачу за него такие деньги? Чепуха! Тридцать пять пфеннигов. А издатель или уж не знаю точно, кто именно, возможно, только наше почтовое агентство кладет в карман три марки за каждый номер... Не улыбайтесь, сейчас все объясню.

Газету надо читать в день выхода, не так ли? Назавтра она уже не интересна. А журнал и через месяц не устаревает. На этом и зарабатывают частные бюро по распространению печати. С подписчика у нас берут не полторы марки, а марку двадцать. Но ровно через неделю приходит мальчик в картонной шапочке, забирает журнал и передает второму подписчику, который платит восемьдесят пфеннигов. Следующий —

шестьдесят. Я получаю журнал к концу третьей недели за сорок пфеннигов. Но к концу месяца приходит мальчик, на картонной шапочке котого герб бумажной фабрики, и возвращает мне пять пфеннигов. А мой журнал как сырье идет в переработку.

Вы скажете — немецкая мелочная расчетливость? Ведь так же! А я скажу — блестящая организация. Умение считать и делать деньги. Не очень плохое качество, должен заметить. В данном случае всем выгодно. Но подобных примеров не так уж много. Только на них чуда не создашь. Я вам еще объясню, откуда оно берется, а сейчас давайте вернемся к вашим вопросам.

Вольфганг был похож на преподавателя, читающего лекцию. Он не рассказывал, а объяснял. Неторопливо, солидно, то прохаживаясь по комнате, то останавливаясь.

— Вы правы, — продолжал он. — На каждые пять человек приходится машина. Но это мне напомнило анекдот, не сердитесь, пожалуйста, который Генрих привез из России. Вы, наверное, знаете. Человек продавал котлеты, сделанные из рябчиков и конины. На вопрос, в какой пропорции смесь, он ответил: «Как раз пополам. На одну лошадь — один рябчик», — и Вольфганг рассмеялся. — А теперь давайте разберемся, — сказал он, роясь в журналах. Прежде всего из общего числа машин отбросьте тридцать пять процентов, находящихся на складах. Дальше. Вот последние статистические данные, по которым мы легко определим, кто машинами владеет. В стране, вот смотрите цифры, один миллион бездомных и двести тысяч нищих и бродяг. Надеюсь, вы понимаете, что машин они не имеют. Теперь смотрите эту графу — три с половиной миллиона семей получают до трехсот марок в месяц. Этим тоже не до машин. Следующая графа: около семи миллионов зарабатывают от трехсот до шестисот марок. Чтобы яснее было, как велики эти суммы, я прошу вас, — он снова начал перекладывать журналы, — вот, последний номер. Быстро найдя нужное место, ткнул пальцем. Прочтите, пожалуйста. Вслух прочтите.

Это был журнал «Штерн».

«...Незадолго до полуночи начались схватки. В соседней комнате спали ее дети. На диване она произвела пятого ребенка. Однако в 3 часа 45 минут новорожденный был мертв. Отец задушил его, а мать не защитила... Им было предъявлено обвинение в совместном убийстве. Мотив преступления — бедность».

Дальше рассказывалось о том, что обвиняемый Герд Браун, получавший в месяц шестьсот марок, заявил суду:

«290 марок уходило на квартиру, а у нас к тому же было четверо детей. Мы просто не могли позволить себе платить 5 марок за каждую противозачаточную пилюлю».

— К процессу мы еще вернемся. А пока я хочу лишь, чтобы вы

поняли, что значит шестьсот марок и что остается после удержаний, обязательных платежей и платы за квартиру. Ну, пусть у Брауна большая семья. Но на эти деньги, если учесть огромные налоги и квартирную плату, не прожить и маленькой семье. О машине они и думать не смеют. Не так ли?

Вольфганг часто повторял эти слова: «Не так ли?» Но звучали они не как вопрос, а решительным подтверждением его выводов.

Перечисленные категории людей составляют около сорока пяти процентов работающих. Следующие тридцать процентов зарабатывают от шестисот до восьмисот марок в месяц. Вольфганг допускал, что часть из них, те, кто не имеет семей, могут купить машину. Но эксплуатировать ее не в состоянии.

— У меня тоже есть машина, — вмешался в разговор Генрих. — Старые машины недороги. И все стремятся иметь свой автомобиль. Это показывает людям, как ты хорошо живешь, к тебе относятся с большим уважением. Но вот к Вольфу я езжу на поезде. Вам это трудно понять, у вас, как мне говорили, бензин дешевле минеральной воды. Кстати, так ли это? Или, может быть, ваши пропагандисты увлеклись?

— Литр минеральной воды, — ответил я, — стоит двадцать копеек, а литр бензина — семь копеек.

— Ты слышишь, Вольф, втрое дешевле воды. А у нас, — обернулся он ко мне, за литр бензина надо платить пятьдесят пфеннигов. Одна заправка — тридцать марок. А хватит ее на десять дней, и то если не ездить за город. Значит, в месяц девяносто. К этому прибавьте стоимость масла, обслуживания, ремонта. Получится не меньше ста пятидесяти. Слесарь или токарь зарабатывает, как я уже вам говорил, от 700 до 1050 марок. А теперь считайте сами, может ли он, оплатив налоги и квартиру, выложить еще сто пятьдесят?

— Вот вам и каждый пятый на машине! — как бы подвел итог Вольфганг. — Сами судите, сколько простых людей смогут выехать за город в собственной машине с домиком на прицепе.

— Выходит, одни банкиры ездят? — спросил я.

— Почему банкиры? — обиделся Вольфганг. — Банкиры с домиками не ездят. У них есть, где отдыхать. Ездят целые армии крупных торговцев, высокооплачиваемых инженеров, врачей, адвокатов и даже рабочих. Есть ведь и рабочие, получающие полторы тысячи. Но это уже касты.

Вам трудно понять, — подхватил Генрих. — Вы привыкли к другому. Я ведь провел у вас три года. Три военных года. Видел, как живут ваши строительные рабочие, как они проводили праздники и выходные дни. Всегда вместе. Целыми семьями, компаниями. Одни зарабатывали больше, другие меньше, но никто не старался выделяться именно этим. А посмотрите внимательно на тех, кто ездит у нас на выходной за город. Едут, гордо поглядывая на прохожих, чтобы видели, как они зажиточ-

ны. Возможно, они даже остановятся рядом, на одном берегу, но не заговорят друг с другом. Будут есть, прячась от соседей, опасаясь, как бы у тех не оказался кусок пожирнее. Каждый сам по себе, только со своими послушными детьми, воспитанными собаками, старательными женами.

Вы говорите: «коттеджи, как игрушки», — направил он на меня палец, словно обвиняя. — Но пройдите по такому поселку вечером. Жалюзи опущены, занавески зашторены, двери заперты. Ниоткуда не пробьется лучик света. Как в ячейке сот. Как в скорлупе. Как замурованные. Никто ни к кому не зайдет в гости, не пригласит к себе. Если раздастся крик о помощи, никто не выйдет. И все к этому привыкли, считают нормальным. А мне это бросается в глаза только потому, что видел, как живут у вас.

Да что говорить! — махнул он рукой. — А в больших городах! Конечно, ночной Гамбург примет всякого. Но попытайтесь пробить броню и войти в частный дом! Ни ваша радость, ни горе никому не нужны. Каждый, кто как сумеет, борется за свое существование. Ни вам никто не поможет в беде, ни вы не поможете. Каждый одинок.

Да, на Репербан в Гамбурге и ночью весело, можно до утра гулять и на Таунусштрассе во Франкфурте-на-Майне или на Швабинге в Мюнхене, где сосредоточены увеселительные заведения. Сверните с главных улиц большого города, та же картина, что и в заводском поселке. Ни одного огонька в окнах, ни одной светящейся щелочки.

Мертвые дома, мертвые кварталы. А внутри — маленькие лампочки, как у нас в отеле: зажжешь настольную, погаснет верхняя, зажжешь у постели, погаснет настольная. Чтобы не забыть экономить на электричестве. Экономить про черный день, потому что он обязательно придет. Не сейчас, так в сорок пять, когда до пенсии останется двадцать. Не зря же три четверти безработных — люди старше сорока пяти. Их никто не возьмет на работу. Вместо них вербуют иностранных рабочих. Молодых, здоровых, безропотных. Уже полтора миллиона завезли.

— Подожди, — отстранил его рукой Вольфганг. — Это ты уже о другом. Дай закончить одно... Вас привели в восторг красивые коттеджи, — обернулся он ко мне. — Вы говорите, стройка, откуда выгнали Генриха, — исключение, жизнь в его отеле — исключение... Чепуха! Какая разница — не Брегберг, так Гохберг, не Шредер, так Шрайбер — дело вовсе не в каждом из них и не в их отношениях между собой. Хозяином отеля может быть и не подлец, как Брегберг, а порядочный человек. Но система работы повсюду одинакова. В отелях, кафе, небольших магазинах, в бытовых мастерских, — во всей огромной сфере обслуживания люди работают до полного изнеможения.

Дико, центр Европы, но уверяю вас, в этой области самый настоящий колониальный труд. Никем не контролируемый, низкооплачиваемый, при неограниченном рабочем дне.

Поживите здесь год, и вы увидите: «Фирма в ваших услугах не нуждается» висит над каждым человеком, над всей страной, как неотвратимый рок. И при всем этом увольняют не так много. Люди работают на одном месте годами, нередко десятилетиями, но каждый день в тревоге за место. Это же пытка.

— К сожалению, — сказал я, — не могу прожить здесь год, — чтобы убедиться в этом.

— Вы улыбаетесь, вы не верите? Хорошо. Вы не верите мне, но, может быть, президенту нашему поверите, — говорил он, нахмурившись и извлекая какую-то газету из большой пачки. — Вот, читайте. Это речь на церемонии принесения присяги новым президентом, доктором Густавом Хейнеманом, произнесенная им несколько дней назад. Вот что он говорил:

«...В связи с моим избранием на этот пост я получил множество писем от представителей всех слоев населения и всех профессий... Речь идет о просьбах о помощи, вызванных трудностями и тяготами повседневной жизни, нуждою и болезнями, жилищными проблемами или наложением уголовного наказания, одиночеством и пережитой несправедливостью... Авторы многих писем говорят о страхе перед будущим или перед старостью, о страхе потерять работу».

— Вот! — торжествующе сказал Генрих. — Я же говорил, что Вольф — энциклопедия.

— Ну, что ты с глупостями, — раздраженно прервал его Вольфганг. — Обратите внимание — не озабоченность, даже не тревога. Страх. Страх перед будущим! Страх перед старостью! Страх потерять работу! Кто это говорит? Недруг Германии? Нет! Президент! На основании чего говорит? На основании множества писем. И не от безработных или бездомных. «От всех слоев населения, — поднял он вверх палец. — От представителей всех профессий».

— Уверяю вас, — подошел он близко ко мне. — Если бы это не было угрожающим явлением, не стал бы так говорить президент. Это ведь не предвыборная речь, не расчет на то, чтобы завоевать голоса. Это явление, о котором уже не может умолчать даже президент. Вынужденное признание... Пожалуйста, я могу подарить вам эту газету. Видите, от первого июля шестьдесят девятого года.

Вольфганг прошелся по комнате и снова остановился возле меня.

— Те, кто получает до восьмидесяти тысяч марок в месяц, — продолжал он, — создали немыслимое напряжение. Оно не ослабевает. Под страхом увольнения живет и тот, кто имеет коттедж и машину. Ведь за них надо годы и годы выплачивать. А если уволят? Это катастрофа. Боясь ее, люди работают, как автоматы. С той лишь разницей, что при перегрузке автоматы отключаются. А рабочий сам отключиться не может. Он отключается, когда в голове туман. Когда его калечат станки. Семь ты-

сяч увечий на заводах каждый день. Пятнадцать человек ежедневно умирают от ран. Как на войне. Я сам вышел из строя, спасая падающего на станок рабочего.

Лицо и шея Вольфганга стали красными. Генрих смотрел на брата с тревогой и вдруг резко оборвал:

— Перестань! Успокойся или я не дам тебе говорить! У него ведь, кроме прочего, гипертония, — пояснил он мне.

— Хорошо. Хорошо. — спохватился и сам Вольфганг. — Не буду.

Чтобы отвлечь от явно больной для Вольфганга темы увечий на производстве, я спросил, кто же получает такую огромную зарплату — восемьдесят тысяч марок в месяц.

— Могу вам показать. Все те же официальные данные, — снова подошел к столу Вольфганг. — Директора и управляющие банков, заводов, концернов получают от пяти до восьмидесяти тысяч. А потом соответствующую пенсию. Кстати, на сколько у вас директор завода получает больше рабочего?

Я задумался.

А он нетерпеливо продолжал:

— Ну, в три, пусть даже в пять раз. Во всяком случае, не в пятьдесят. А у нас именно так. Директор крупного завода получает сорок тысяч марок в месяц. Хозяину это выгодно. Он знает, за эти сорок тысяч директор вытянет душу у сорока тысяч рабочих. Это один из главных рычагов экономического чуда: невиданно высокая интенсивность труда. Выше, чем в Америке. Бешеный ритм, бешеный темп. До одурения, до полного износа. Да вы это сами можете увидеть. Посмотрите, как разгружают грузовики, вагоны, пароходы. Разве пожарники работают быстрее? От усердия?.. Страх перед угрозой потерять место. И каждый смотрит на соседа. Кажется, будто сосед работает быстрее. Значит, будь проклят этот сосед, и самому надо усилить темп. Ведь где-то стоит хозяин или телевизионная камера.

Раздался тихий зуммер, и я не сразу понял, что это телефонный звонок. Оказывается, вызывали Генриха. Тот испуганно вскочил, выхватил у брата трубку.

— Слушаю... Понятно, господин Брегберг... не беспокойтесь господин Брегберг...

Медленно, осторожно Борб придавил пальцем рычажок на аппарате, аккуратно положил трубку. И только после этого ослабло напряжение на лице. Обращаясь ко мне, сказал:

— Предупреждает, чтобы я вернулся не завтра, а сегодня к семи. И сразу к фрау Клюг за собакой. Американке у нас, наверно, не понравилось, — и он громко рассмеялся.

Впервые услышал его смех. Мне было ясно, чему он обрадовался. За день до нашего приезда к Вольфгангу в отеле фрау Шредер появилась очень богатая американка. Она путешествовала со своей любимой собакой. Борба отправили в ближайший отель для собак узнать, в каких условиях там находятся животные, и если отель хороший, забронировать место. Только после этого сама американка отведет собаку и проверит, может ли спокойно оставить ее там.

Возвращаясь из Бонна в свой номер, я встретил на улице Борба, который шел на разведку в собачий отель, находившийся неподалеку. Я много раз видел у ворот большого одноэтажного здания с необозримым участком за высоким забором щит, на нем светящаяся симпатичная морда пуделя и огромными буквами надпись: «Hunde Hotel». И чуть поменьше — фамилия владелицы «Droemond». Давно хотелось посмотреть на это учреждение, да никак не мог найти подходящий повод. Поэтому сказал Борбу: если он абсолютно убежден, что мое общество не принесет ему вреда, я охотно сопровождал бы его.

— Конечно, конечно, — обрадовался он. — Только пойдемте быстрее. Мне хочется поскорее достать это место для собаки. Иначе будет невиданный скандал...

В большой гостиной собачьего отеля нас встретила молодая женщина — администратор фрау Клюг. Пока Борб объяснял цель визита, подчеркивая знатность и богатство владелицы собаки, я рассматривал на стене фотографии красивых в своем уродстве собак, подстриженных самым немыслимым образом. Стрижка делала собачьи головы то круглыми, как шар, то квадратными, то выделялись бороды или усы, то причудливую форму обретали ноги и хвосты. Особняком висел большой портрет подстриженной под нулевку огромной собаки, но с головы и шеи ее на обе стороны спускалась длинная волнистая шерсть, которую едва ли отличишь от женских волос. Вполне возможно, туда был искусно вплетен шиньон. Что-то мне не верится в такие длинные и красивые собачьи волосы.

У другой стены в широком стеклянном шкафу демонстрировались предметы собачьего обихода. Различного фасона и размера обувь на шнурках, молниях, кнопках, попоны, трусики, штанишки с бахромой или отделанные золотистыми пластинками, чепчики и шапочки, множество всевозможных ошейников и поводков лежало на полках, висело на стенках шкафа. Близ письменного стола стояли диванчики и кресла для собак.

Выслушав Борба, фрау Клюг сказала:

— Мы можем принять собачку вашей гостьи. У нас очень хорошие условия, а она останется довольна. Прежде всего возьмите вот это, — протянула она Борбу карточку чуть больше почтовой открытки. И вам тоже, — мило улыбнулась она мне. — Возможно, пригодится.

На карточке было написано:

«Приводите свою собаку
в отель для собак.
Отопление — прогуливание —
лучший уход.

Отель для собак
с индивидуальным обслуживанием»

А ниже — фамилия владелицы отеля, адрес и номер телефона. От руки фрау Клюг написала на карточке адрес и номер (12554) телефона Герберта Хайдеке, владельца лучшего, как она заверила, парикмахерского салона для собак.

Мы осмотрели, не знаю как и назвать, собачьи спальни, что ли. Постели аккуратные, красиво сделанные, с вырезом посередине, чтобы животному не преодолевать барьер.

Потом фрау Клюг повела нас осматривать территорию, где гуляют собаки. Огромное количество матерчатых и резиновых игрушек. Любых размеров кошки, всевозможные зверюшки и даже ежи. Колючки не колючие, резиновые. Клюг пояснила, что игрушки после употребления дезинфицируются.

— Главный наш принцип, — говорила она, — индивидуальное обслуживание. Каждой собачке мы создаем те условия, к которым она привыкла. Кормим тем, что она ест и у себя дома. Нам необходимо лишь знать ее характер, привычки, вкусы. У нас — лучшие повара. Они могут изготовить любое блюдо, любое лакомство. Есть одежда всех размеров, для всякой погоды. Собачка будет всегда своевременно прогулена, накормлена, вымыта. Ничто не будет ее раздражать, у нас не скучно. Есть специально дрессированные собаки для игр с отдыхающими. Мы располагаем богатой аптекой и можем предложить любое лекарство! Постоянно дежурит опытный врач.

Борб осведомился о суточной стоимости места.

— Общий стол и общий режим — от семи до одиннадцати марок. Естественно, ваша гостья предпочтет индивидуальное обслуживание. К сожалению, сейчас мне трудно назвать сумму. В зависимости от услуг, но не свыше ста марок в сутки... Это, само собой понятно, без медицинского обслуживания...

Нам с Генрихом собачий дом понравился. Американке тоже. Она сообщила фрау Шредер, что проживет в отеле три дня. Брегберг, понимая, как выгодна такая туристка, хвастался, будто уговорит ее остаться на неделю. И вот, оказывается, только сутки.

После телефонного звонка Борб рассмеялся, представив себе, в каких дураках остался Брегберг. А Вольфганг, ничего не зная об этой истории, набросился на брата:

— Что за глупый смех! — и, не дав объяснить, в чем дело, продолжал: — Интенсивность труда, доведенная до пределов человеческих возможностей, это первый и главный кит, на котором держится «экономическое чудо». Впрочем, не главный, — поправил он себя. — Не задумывались ли вы над тем, что «экономическое чудо» произошло в двух побежденных странах? Именно Германия и Япония, понесшие тягчайшие поражения в войне, вынужденные платить репарации, страны, которые, казалось бы, долгие годы не смогут подняться, совершили невероятный скачок в экономике.

Вольфганг совсем успокоился и снова говорил тоном преподавателя, читающего лекцию:

— Все объясняется очень просто, дорогой друг. В Соединенных Штатах и у вас бешеные деньги идут на вооружение и многочисленную армию, а побежденные страны, как вы знаете, не имеют права вооружаться. Правда, теперь Федеративная Республика наплевала на запреты и все больше средств вкладывает в вооруженные силы. Но лет двадцать она была свободна от подобных расходов. Представляете, что это значит? Здесь есть над чем призадуматься. США и СССР затрачивают уйму денег на разработку новых видов оружия, а старое, тоже стоившее немало, оказывается ненужным. Выброшенные деньги. Германия же сейчас получает готовеньким новейшее оружие. Не так ли? Парадокс.

Подумайте, какой скачок могла бы совершить любая технически развитая страна, скажем, ваша, освободи ее хотя бы на те же двадцать лет от тягчайшего бремени военных расходов.

Вольфганг смотрел на меня, ожидая то ли подтверждения своим выводам, то ли возражений. Я молчал, хотя понимал, что не только в этом причины «экономического чуда». Мне хотелось выслушать его до конца.

— Вот это и есть платформа, на которой держатся все три кита, — подвел он итог своим доказательствам. — Но это обстоятельство, так сказать, объективное, от страны не зависящее, а киты чисто немецкие, — как-то не к месту рассмеялся Вольфганг. — О первом я уже сказал.

Второй кит — высокоразвитая техника. Немецкая инженерная мысль всегда была передовой. В конструкторских бюро, в лабораториях, проектных организациях сидят только одаренные инженеры и ученые, талантливые организаторы. Они тоже боятся потерять место. Они умеют использовать опыт самых передовых стран, умеют внести и свое, чтобы превзойти достигнутое. Передовая техника в сочетании с высокой интенсивностью дает производительность, до которой еще долго тянуться иным странам.

И третий кит — экономия. Тут Генрих с иронией рассказывал о том, как зажигаются лампочки. А я скажу, что это отлично придумано. Если ты садишься к письменному столу, тебе не нужен верхний свет. Если прилег на диван почитать, тебе не нужна настольная лампа. И ни одну се-

кунду не должна расходоваться лишняя электроэнергия. И каждая прочитанная газета должна идти на переработку. И ни одну консервную банку, ни один пузырек немец не выбросит в мусорный ящик. А если бросите, найдется, кому подобрать. Вот такой принцип величайшей экономии заложен во все процессы производства. Он во всей нашей жизни.

Я сказал, что такому принципу можно лишь завидовать. Мы тоже стремимся...

— Нет,— уверенно прервал меня Вольфганг.— У вас не получится. Любой декрет об экономии не стоит и пфеннига. Бережливость должна быть в крови. У нас она воспитывалась не годами. Веками. А вы гордитесь широтой русского характера.

— Но, позвольте, это же совсем другое...

— Да, да,— снова не дал он мне договорить.— Понимаю, понимаю, широта характера, конечно, завидное качество, но не во всем...

— Подожди, Вольф, подожди,— поднялся Генрих.— Я ему сейчас докажу. Вот я строил у вас дома. Ты не поверишь, Вольф! К застекленным рамам они выписывают еще столько же стекла в расчете на то, что, пока рамы довезут и поставят на место, все стекла разобьются.

— Вот-вот,— обрадовался Вольф.— Это вы считаете широтой? Нет, конечно. Значит, и не надо за русской широтой, которой завидует мир, прятать расточительство. Впрочем, любые крайности плохи. Мне и самому неприятно, когда вижу носовой платок со штопкой или заплатой.

Вольфганг подошел к шкафу, накапал в ложку какого-то лекарства, а потом принял еще пилюлю.

— Вы не думайте, это не от волнения,— сказал он.— Генрих знает, просто пришло время принимать лекарство.

Но я видел, что он взволнован, и предложил ехать смотреть город.

— Сейчас поедем, еще несколько минут,— сказал Вольфганг.— Я не забыл ваше замечание о том, что один судебный процесс не дает оснований для обобщений. Ну, а если не один? Если аналогичных сотни? Это уже извините, тенденция. Вот посмотрите. Тот же «Штерн»... Вот здесь, через два абзаца после прочитанного вами.

Я посмотрел на указанное им место.

«И случилось то, что в Федеративной республике карается примерно в 300 случаях, а по приблизительным данным экспертов, почти в 100 тысячах случаев остается безнаказанным...

Ежегодно родители убивают около 100 детей. Они убивают с помощью снотворного, как Хедвиг Куглер, которая хотела избавить себя и свою дочь Ангелу от жизни, полной отчаяния и позора. Ангела умерла, а Хедвиг Куглер осталась в живых. Они открывают газ, как, например, Инге Масс, которая хотела умереть вместе со своими пятью детьми из-за страха перед приютом для бедняков.

...Они порют розгами, бьют ногами, убивают, как Йозефа Штубер,

которая бросила труп своей дочери Аннелизы в Дунай. За жестокое обращение и за убийство Йозефа Штубер приговорена к пожизненному заключению в каторжной тюрьме, четверо детей остались сиротами...»

Я читал эти страшные строчки, а Вольфганг стоял рядом, держа наготове еще два журнала.

— Это только последние три номера «Штерна», — говорил он. — За восьмое, пятнадцатое и двадцать второе июня. Пробегите теперь вот по этим абзацам.

«Дети ютятся в полуразрушенных хибарах. Матери живут в грязи, зловонии и пьянстве. Семейная жизнь среди жести и бетона. Гетто отверженных. Две колонки во дворе на 196 человек. Так обстоит дело в марбургских бараках...

55—58 процентов бездомных семей — многодетные. Причем живут они в совершенно непригодных помещениях. Это мир тонких стен. Семейная жизнь становится своего рода спектаклем для публики...

Г. Ибен, который исследовал участь «детей, отвергнутых обществом», в ночлежках для бездомных и приютах для бедняков, заявил: «По мнению общества, бездомный сам несет вину за то, что оказался в таком положении». Ибен считает, что общество должно «взять на себя ответственность за то, что бедных становится все больше и что это приведет к серьезным последствиям для общества».

«Сегодня в Германии (Западной. — **Ред.**) дети, — читал я дальше, — в том числе в школах, дрессируются с помощью побоев. 85 процентов всех родителей считают порку вполне пригодным методом воспитания (не бьют детей лишь два процента родителей)... Ежегодно в результате несчастных случаев на дорогах 1600 детей погибают, а 63 тысячи получают увечья...»

— Может быть, хватит читать? — спросил я Вольфганга, готового дать мне очередной номер журнала.

— Все, — ответил он, улыбаясь. — Вот только один абзац. Вот этот. Прямой ответ на ваше замечание о вводе в эксплуатацию тысяч новых домов.

Я прочитал. Речь шла о том, что дома строят плохо, жить в них тесно.

— Вы говорите, дома возводятся не только для банкиров, — сказал Вольфганг, принимая у меня журнал. — Это, конечно, верно, но многие строятся именно так, как здесь описано. А сколько новых отличных домов во всех городах пустует? Люди не в состоянии оплатить хоть сколько-нибудь приличную квартиру. С ненавистью смотрят на эти пустые и красивые дома миллион двести бездомных и нищих и миллионы живущих в нечеловеческих условиях.

— Да, да, он прав, — вскочил Генрих. — Он абсолютно прав. Вы к этому не привыкли, хотя и у вас не сладко с квартирами. Но у вас пост-

роено, значит заселено. Не так ли? Это равнозначные понятия. Вы можете себе представить, чтобы у вас стоял пустым готовый дом? Что же вы молчите? — шагнул он ко мне, загородив Вольфганга. — Я ведь помню, я же строил у вас дома и видел, как их заселяют. Вы не обижайтесь, но ты, слышишь Вольф, — обернулся он к брату. — На моих глазах, не дав убрать строительный мусор, люди самовольно заселили квартиры, боясь, что им не достанется.

Не обижайтесь, ради бога, — снова обратился он ко мне. — Я говорю не для того, чтобы уколоть вас или сделать неприятное. Я хорошо понимаю состояние людей, чей город был почти полностью разрушен. Но я завидую этим людям, которые вели себя, как хозяева. Их, кажется, так и не выселили. Никто не посмел трогать их детей. А теперь объясни ему, Вольф, что такую картину у нас даже представить немыслимо. Напротив, созданы многочисленные бюро, агенты которых ищут жильцов и за каждую сданную квартиру получают от домовладельца комиссионные в сумме месячной ее стоимости. Но миллионы нуждающихся в квартирах не в состоянии их оплачивать.

Осматривать Дюссельдорф мы отправились пешком. Братья с гордостью показывали мне грандиозное здание Академии художеств, великолепные новые павильоны Дюссельдорфской ярмарки, знаменитый концертный зал Райнгалле. Они явно гордились своим городом. Но я обратил внимание на то, что ничего не говорят об этой столице Рура как о крупнейшем в гитлеровские времена военно-промышленном центре, впрочем умалчивая о нем и как о центре революционном.

Неожиданно Генрих остановился у витрины огромного универсального магазина. Не сомневаюсь, что оформлял ее незаурядный художник. Это была сверкающая витрина изумительно красивых мужских вещей. Едва ли найдется хоть один предмет мужского обихода, которого бы здесь не оказалось. Сочетание множества цветов и форм выставленного, красота и изящество каждого предмета, мягкий свет от скрытых источников создавали удивительную картину, которая могла доставить эстетическое удовольствие. Я не понял, как это сделано, но в зависимости от того, смотришь на витрину прямо или с боков, все резко меняется. Каждый раз кажется, будто перед тобой что-то новое.

— Нравится? — спросил Генрих.

— Очень.

Он удовлетворенно кивнул, как бы подтверждая, что никакого другого ответа не ждал.

— А теперь посмотрите вот на это.

Он показал на две совершенно одинаковые нежно-голубые рубашки с тонкой полоской на воротничках и лежавшие рядом две одинаковые кисточки для бритья. На одной рубашке стояла цена шестнадцать ма-

рок, а на второй — семьдесят. Одна кисточка стоила пять марок, вторая — шестьдесят.

— Найти разницу в этих рубашках, как и в кисточках, невозможно, — сказал он. — Не так ли? Но одна превратится в бесцветную тряпку после первой стирки, а вторая останется такой же, как была. Одна кисточка сделана из синтетического волоса, который через две недели придет в негодность, а вторая — из натурального барсукового. А видимость одинаковая. И с полным правом можно сказать, будто богатые и бедные одеваются одинаково, пользуются одними и теми же предметами обихода. И можно сказать, что любой человек найдет у нас товары по своему карману. Да, это все можно сказать, но сами понимаете... Видимость. Только видимость.

Наступила долгая пауза, которую прервал Вольфганг.

— Мне хочется подвести некоторые итоги, — обратился он ко мне, — чтобы у вас не создалось ложного впечатления. При всем том, о чем мы говорили, жизненный уровень в нашей стране выше уровня во многих странах. Сегодня у нас практически снята проблема безработицы, хотя безработные есть. Но вспомните, при Гитлере вовсе не было безработицы. Значит, не в этом еще главное. И не в том, что определенные слои населения не нуждаются. Главное заключается в том, что существующим положением недовольны решительно все, исключая, естественно, богатых. Особенно недовольна молодежь. Только три — пять процентов рабочих и крестьян имеют доступ в высшие учебные заведения.

Выхолащивание конституционных прав, сужение демократии, рост неонацизма, антинародное социальное законодательство, бешеные цены на квартиры, непрерывное повышение цен на продукты питания, отсутствие перспектив в жизни и неуверенность в завтрашнем дне — все это создает страх перед будущим. Страхом охвачены и те, кто сегодня имеет и квартиру, и автомобиль, ибо даже у них нет уверенности, что завтра не лишатся всего.

Растущее подспудное недовольство то и дело вырывается наружу, и мы становимся свидетелями множества забастовок и демонстраций, кровавых столкновений полиции с молодежью.

— И знаете, — сказал он, — оглянувшись по сторонам, — мир меняется с головокружительной быстротой, а на немцев многие смотрят, как в конце тридцатых и начале сороковых годов. Смотрят, как на послушных солдатиков.

— Нет! — решительно и зло резанул он ладонью воздух. — Мы уже не те. И времена не те. Прогрессивно настроенных немцев все больше и больше. Страна бурлит, ее захватывают острейшие социальные конфликты...

За несколько дней до отъезда в Москву я отправился в Висбаден, где в то время гастролировал Ленинградский театр оперы и балета.

Мрамор, ковры, хрустальные люстры, зеркала — все сверкало в переполненных фойе и вестибюлях. Переливались искрами ожерелья, колье, браслеты, кулоны, блестки на платьях. Величественно двигались толстые немки и выдавленные корсетами излишки наплывали на спинах, как тесто в переполненных формах. А рядом грации, изящные и легкие, тоже увешанные драгоценностями, опираясь на руки мужчин, парили, едва касаясь паркета.

Смокинги, монокли, тяжелые перстни. Меха, шлейфы, супермини, точно выставка мод трех последних веков.

Жонглируя подносами, метались официанты. Звенели бокалы, вспыхивали газовые огоньки золотых зажигалок, дымились толстые сигары.

Во всем блеске демонстрировала себя западногерманская знать, собравшаяся сюда из Бонна и других городов.

От Висбадена до отеля фрау Хильды Марии Шредер километров двести. Дороги отличные, ночью не загруженные, машины скоростные, и уже в половине второго ночи я был у дома. Как всегда, приветливо встретил Генрих. Мне не хотелось отрывать у него время отдыха, и я сразу же пошел в свой номер. На лестнице увидел Эрику, с полным подносом посуды спускающуюся из ресторана в кухню.

Я не раз видел ее уставшей. Случалось наблюдать, как после тяжелого дня, поздним вечером приняв заказ у посетителя, она отходила от столика. Улыбка ее тут же гасла, глаза тускнели, и вся она словно уменьшалась. В такие минуты со стороны было видно, что она чуть-чуть сутулится. Но стоило ей заметить на себе взгляд, как лицо озарялось улыбкой.

У нее была удивительная улыбка. То ли ямочки на щеках, то ли светящиеся глаза и, точно лакированные, красивые зубы, а вернее все вместе преображало ее, и никак не хотелось верить, что улыбка Эрики — лишь служебная обязанность.

Я привык видеть ее улыбающейся, реже — усталой и осунувшейся или, наконец, с испугом в глазах, если поблизости находилась Сильвия.

На этот раз в ней появилось что-то новое. Какая-то отрешенность. Она улыбнулась так же, как и обычно, так же появились ямочки, но взгляд был отсутствующим. Была в ней будто покорная успокоенность, даже смирение.

На следующий день спустился завтракать поздно. В зале за столиком сидели трое, с которыми рассчитывалась Сильвия. Из-за портьеры вышла ко мне Эрика.

Молодость брала свое: девушка не казалась усталой. Как всегда, красиво причесанные волосы, свеженакрахмаленный фартучек и все та же обаятельная улыбка. И все-таки это была совсем другая Эрика. Та, ко-

торую впервые увидел прошедшей ночью на лестнице. Она подошла, сказала: «Доброе утро», приготовилась записать заказ, но мысли ее были где-то, и еще резче, чем ночью, обозначилась на лице печать отрешенности.

Эрика не успела принять заказ, как подошла Сильвия.

— Извините, — поздоровавшись, сказала она. — Бедняжка вчера поздно легла. — Она ласково потрепала по щеке Эрику и добавила: «Отдохни, девочка, я сама обслужу. Ты уже сегодня набегалась».

Я не мог поверить своим глазам и ушам. Невольно вспомнил картину, которую видел недели две назад. Все происходило в этом же зале, почти на этом же месте. Только сидел я за другим столиком, у стены. Ни Сильвия, ни Эрика меня не видели или не думали, что я вижу их. Вытянувшись, как по команде «смирно», и чуть приподняв голову, Сильвия уставилась на Эрику, точно пригвоздив ее. А та, часто моргая, смотрела на свою мучительницу, казалось, не в силах пошевелиться или отвести глаза, полные страха. В них была мольба, безотчетная готовность к любому действию, которого потребует Сильвия. Она ждала приказания, и руки ее то опускались, то чуть приподнимались, будто хотела прижать их к груди и сказать: «Я виновата, я знаю, как страшно виновата, я готова искупить вину любой ценой, только скажите же, что надо сделать, я не вынесу больше этого взгляда».

Не меньше минуты продолжалась немая сцена, пока наконец Сильвия отвела глаза. Но не просто отвела. Точно лучом провела полукруг и остановила на краю ковровой дорожки. Эрика неотрывно следила за глазами Сильвии и увидела, где остановился ее взгляд. На ковровой дорожке лежал обрывок толстой белой нитки. И она бросилась, схватила эту нитку, скомкала в пальцах, глядя, как величественно покинула зал Сильвия.

В тот день я впервые поверил рассказам Борба о том, что Сильвия бьет Эрику. Я не раз потом видел, как изощренно измывается она над девушкой. И вдруг: «Бедняжка... отдохни... девочка»...

Поразило не только это. Поразило, что и слова, и ласковый жест Сильвии Эрика приняла, как должное. Вернее, никак не приняла. На ее лице ничего не отразилось, и она покорно ушла.

Вечером я уехал. Это была последняя поездка в Мюнхен на три дня. И еще день мне предстояло прожить в отеле фрау Хильды Марии Шредер. Я не мог тогда предположить, какие события развернутся в мое отсутствие.

Чтобы не платить лишнее за гостиницу, сдал на хранение вещи Борбу (камерой хранения тоже он ведал) и попросил, если можно, к моему приезду забронировать ту же комнату, где я жил.

В Мюнхене, в гостинице средней категории, попросил номер не дороже тридцати пяти марок. Наученный горьким опытом, добавил, что,

собственно, суточная стоимость номера меня не интересует. Я имею в виду сумму, которую фактически придется платить за сутки.

А разница в этих суммах немалая. В первые дни пребывания в Западной Германии я вот так же попросил в маленьком городке Оберсдорф недорогой номер. Подобная просьба, конечно, вынужденная. Скажем, у нас с незапамятных времен было установлено: во время командировки за гостиницу тебе заплатят рубль пятьдесят шесть копеек. Если же номер стоит, например, два пятьдесят, добавишь из собственной зарплаты. А за границей добавлять не из чего...

Так вот, в Оберсдорфе мне предложили номер за тридцать четыре марки. Правда, номер без телефона, без умывальника, без каких-либо удобств. Но я подумал, что сутки можно прожить в любом номере. Только бы не выйти за пределы отпущенных на командировку денег.

При отъезде мне дали счет на сорок четыре марки восемнадцать пфеннигов.

— Это ошибка, — сказал я администратору, — номер стоит тридцать четыре.

— Вы правы, — любезно ответил он, протягивая руку к счету. Видите, здесь так и написано: стоимость номера — тридцать четыре марки. И дальше все написано. Мервертштоер — одиннадцать процентов, это три семьдесят восемь. Надо платить?

Я молчал.

— Вы же знаете, — уверенно сказал он. — Это государственный налог на все виды платежей. Вы платите его даже в общественной уборной. Правильно?

— Правильно, — вспомнил я.

— Идем дальше по счету. Обслуживание — десять процентов, три сорок. Надо платить?

— Надо.

— Ортстаксе — пять процентов, одна марка семьдесят. Правильно?

— А что это?

— Налог за место. За пейзаж. Вы ведь видите, в каком живописном месте находится отель.

— В красивом, — согласился я.

— Идем дальше по счету. За то, что отказались от завтрака — одна марка тридцать. Правильно?

Я растерялся. Это уж было слишком. Дело в том, что в гостиницах ФРГ такие завтраки, к которым мы не привыкли. Крошечная булочка — треть нашей семикопеечной, соответствующий кусочек масла, джем и чашка кофе. Стоит такой завтрак три марки. За эти же деньги внизу в кафе можно позавтракать вполне прилично, получив еще вкусные сосиски или котлету, или пару яиц. Учитывая к тому же, что завтрака в

гостинице мне явно недостаточно, я заранее отказался от него. Почему же должен платить?

Как объяснил мне администратор, отказ от завтрака наносит убыток отелю в одну марку и официанту — тридцать пфеннигов — за обслуживание, поскольку он меня не обслуживал. Только эту сумму убытков — одну марку тридцать — мне и вписали в счет.

— Итого сорок четыре марки восемнадцать пфеннигов, — подвел он итог. — И не думайте, — добавил убежденно, — нам от этой суммы идет только тридцать четыре. Ровно столько, сколько мы вам и сказали.

В других городах приходилось платить налоги и на благоустройство города, и отдельно за ванную при номере, и даже за отопление. Поэтому, останавливаясь в гостиницах, я каждый раз спрашивал, сколько мне придется платить всего, учитывая и стоимость номера, и все налоги, и сборы. Так брал номер и в Мюнхене. И тем не менее пришлось платить больше, чем мне сказали. За день успели ввести еще какой-то побор — пять процентов.

В отель фрау Шредер я вернулся к середине дня. Как-то странно, непривычно сухо встретил меня Борб. Ну, что ж, всякое случается. Видимо, плохое у человека настроение.

Был последний день моего пребывания в Западной Германии. Решил сразу же пообедать, потом зайти в посольство, выполнить необходимые формальности и попрощаться с товарищами. Когда спустился в ресторан, там была Герта. Но ко мне подошла незнакомая официантка. На мой вопрос об Эрике девушка ответила:

— Она больше здесь не работает... Вы не беспокойтесь, я постараюсь угодить вам.

Расспрашивать было неловко. Наскоро поев, спустился вниз. У входа в отель Борба не оказалось. Решил подождать. Он появился очень скоро. Я сказал:

— Что с Эрикой, Генрих?

— Откуда я знаю! — резко и недовольно ответил он. И еще более резко добавил: — Почему вы об этом спрашиваете?! Почему это вас интересует?

Нет, это уже была не резкость, а грубость. Грубости я не заслужил. Ведь мы были почти друзьями.

Ничего не сказав, в недоумении пошел я к выходу из парка. И по пути в посольство, и на протяжении двух часов, что находился там, эта сцена не выходила из головы. И на обратном пути в отель тщетно искал хоть какое-нибудь объяснение происшедшему.

В запасе у меня оставалось часа полтора. Вещи собраны, счета оплачены, билет в кармане. Зачем иду в отель? И как вести себя с Борбом? Ведь глупо же просто вот так уехать, пройдя мимо него, не пожав ему руки. Но и спрашивать, что случилось, не могу. Не имею права.

Решил на прощание побродить по набережной Рейна и вернуться в номер к приходу машины. Пожалел, что не сообразил сразу же взять машину. Лучше уж погулял бы по Кельну, где мне предстояло сесть в поезд. Хоть еще раз взглянул бы на Кельнский собор, на знаменитые кельнские мосты. Остановился, раздумывая, не вернуться ли в посольство, чтобы тут же уехать.

И в эту минуту увидел Борба.

— Извините меня, ради бога, извините, — еще на ходу говорил он, прижимая руки к груди. — Я не мог иначе поступить, ради бога, ради бога...

На него жалко было смотреть. А он все повторял одни и те же слова, пока я не спросил, что же случилось.

— Понимаете, Брегберг совсем взбесился. Его все же выследил этот однорукий. Оказывается, руку он потерял не без помощи Брегберга. Этот однорукий не так прост. Он докопался, что и сейчас Брегберг в новой нацистской партии ведет какие-то подлые дела. Он сообщил властям. А за свою руку собирается отомстить сам. Но, я думаю, прежде чем он соберется, дружки Брегберга успеют разделаться с ним. И все-таки Брегберг боится. Он стал всего бояться. Сказал, если заметит меня вместе с вами, у вас останется возможность увидеть меня еще только один раз. На моих похоронах.

Я машинально посмотрел по сторонам.

— Не беспокойтесь, — перехватил мой взгляд Борб. — Он только что уехал. Вернется через три дня. А когда вы подошли ко мне, он стоял у окна на лестничном проеме. Он не смотрел в нашу сторону, но я знал, что он видит нас. Боюсь, что даже разговор наш мог слышать. Поэтому я так говорил. Ради бога, не сердитесь... Я специально вышел встретить вас.

— Ну, что вы, Генрих, я вас понимаю.

Он благодарно посмотрел на меня и продолжал:

— У нас бог знает что творится. Бедная Эрика, ее отцу стало совсем плохо. Врач определил опухоль. Предложил немедленно удалить, иначе он ни за что не ручается. Накоплений Керна как раз хватило бы на операцию и пребывание в больнице. Ему ведь платить сто процентов. Керн наотрез отказался от операции. Сказал, что лучше он один умрет, чем вместе с женой от голода после операции. О приюте для бедных и слышать не хотел.

Все это рассказала убитая горем Эрика, вернувшись из дома после выходного. Несчастье произошло как раз в дни, когда издевательства над ней рыжей клячи превзошли все пределы. Дело в том, что с некоторых пор Брегберг стал посматривать на Эрику. И простить этого Эрике она не могла.

Мы шли очень медленно, и говорил он медленно, тяжело, то и дело пальцем вытирал глаза.

Борб рассказал, что еще одно горе обрушилось на плечи Эрики. У них в отеле остановился какой-то тип из Швейцарии, который не просыхал от виски и швырял деньги направо и налево. Увидев Эрику, подошедшую принять заказ, он ахнул и велел ей после ужина явиться в его номер. Ее лицо залилось краской и, боясь что брызнут слезы, она убежала. Молча наблюдала эту сцену Сильвия. Послав к посетителю Герту, она ушла вслед за Эрикой.

Герта понимала, что внизу разыграется трагедия. Трагедии не произошло. Приласкав и попытавшись успокоить Эрику, Сильвия отправила ее отдыхать. Девушка не могла понять, что это значит. Ее охватил ужас.

На следующий день Сильвия опять была ласкова с Эрикой, сказала, что сочувствует ее горю и готова помочь. Сказала, что жизнь отца находится в руках самой Эрики. Просто бог послал этого богатого и хорошего человека, чтобы спасти семью от катастрофы. Он не пожалеет никаких денег.

— Стремясь тебе помочь, — закончила Сильвия, — я обо всем договорилась с ним.

— Как вы можете! — отшатнулась Эрика.

Сильвия не смутилась. Сказала, если Эрика — бесчувственная и жестокая дочь, то может продолжать упорствовать. Только пусть подумает, как сможет жить дальше после скорой смерти отца. Только одна она будет виновницей его смерти.

Весь день Эрика ходила, терзаясь сомнениями, а Сильвия ласково добивала ее. Потом настроение Эрики улучшилось. Она подумала, как легко все разрешится, если сама она умрет.

Сильвия радовалась, что у Эрики улучшилось настроение, хвалила ее. На следующий день поручила ей рассчитываться с посетителями, пока сама справится со своими делами в городе, куда уедет на несколько часов.

Перед вечером, когда посетители уже отобедали, а ужинать еще было рано и в ресторане находилось всего два-три человека, она вернулась и позвала Эрику к себе. Оказывается, она ездила к ее родителям, вручила им необходимую для операции сумму, объяснив, что деньги прислала хозяйка отеля в благодарность за беспримерную старательность их дочери. Родители плакали от радости, благодарили хозяйку, с гордостью говорили о своей дорогой девочке, их единственной надежде, опоре и радости. Их счастье всегда было только в ней.

— А теперь ты можешь поехать и убить их, — закончила Сильвия. — На операцию отец ложится завтра. Сегодня еще не поздно отобрать у него деньги.

Только от первой фразы Эрика вздрогнула, лицо стало белым. Руки

повисли, голова поникла, и она прислонилась к стене. Сильвия сама сняла с нее свеженакрахмаленный фартучек, сама поправила ей прическу.

— Это «Шанель», моя девочка, — ласково говорила она, извлекая из шкафа флакончик. — Сейчас я тебя надушу. Лучшие духи Франции. Теперь и у тебя будет «Шанель».

Осматривая Эрику со всех сторон, отряхивая юбчонку и получше заправляя блузку, ворковала:

— Ты умница, моя хорошая, ты благородный и честный человек, ты спасла от смерти отца, моя красивая. Он скоро поправится, начнет работать, и всем будет хорошо... Ну вот, теперь пойдем. — Она поцеловала Эрику и сама повела ее.

Возможно, Эрика ничего не слышала. Она молчала, пока Сильвия приводила ее в порядок, молча шла из флигеля через двор, молча поднималась по лестнице.

— Вот и пришли, — замедлила шаг Сильвия, легонько подталкивая ее к двери.

При этих словах голова Эрики дернулась назад, будто кольнуло в спину, глаза ожили, полные ненависти, уставились на Сильвию. Но это уже было как предсмертная судорога. Она тут же обмякла, беспомощно повисла голова.

— Что ты, детка моя? — испуганно протянула к ней руки Сильвия.

Эрика резко отстранила ее. Выпрямилась, шумно выдохнула и без стука толкнула дверь в номер.

Сильвия постояла несколько секунд, поправила прическу, едва заметная улыбка скользнула по лицу. Уверенным шагом, не обернувшись, направилась вниз.

О случившемся Брегберг узнал на следующий день. Узнал от фрау Шредер, которая видела, как Сильвия отвела Эрику в номер. От других узнал, какой ласковой была с Эрикой в последние дни, и все понял. Понял, что дорого продала ее.

Поздним вечером, когда дом утих и Сильвия пошла к себе во флигель, Брегберг последовал за ней. Она обрадовалась.

— Вот видишь, — сказала она торжествующе, — ты заглядываешься на Эрику, веришь, когда эта паскуда стеснительно опускает глаза, а она не зевает. Уже обработала этого из Швейцарии, у него ночует.

Брегберг наотмашь ударил ее по лицу. Это не был удар, вызванный порывом. Это было его решение. Он бил Сильвию, а она боялась кричать. Боялась, если закричит, будет бить сильнее.

Потом сказал:

— Я не стану отнимать у тебя деньги, которые ты заработала на этом деле. Я даже рад твоей находчивости. А проучил за то, что изменила своему слову быть мне преданной. Обязана была, прежде чем отправлять ее в номер, привести ко мне.

Расчеты Сильвии не оправдались. Она думала, что после происшедшего Брегберг потеряет к Эрике всякий интерес. А он, взяв ее с собой, укатил куда-то на три дня. Велел Сильвии срочно взять на работу другую официантку и к его возвращению подобрать поблизости жилье для Эрики...

Мы подходили к отелю фрау Хильды Марии Шредер. Борб умолк. И уже у ворот парка сказал:

— Теперь Сильвия будет бесплатно давать Эрике ключ от комнаты во флигеле. А фрау Шредер найдет возможным посочувствовать Сильвии, брошенной Брегбергом. Если же однорукому удастся разделаться с ним, фрау Шредер выгонит Сильвию и не даст ей рекомендации. Тогда на работу устроиться она не сможет.

Я не знал, что сказать Борбу. Но тут блеснули фары завернувшей в парк машины. В ней были мои советские друзья. Они приехали проводить меня.

В номер я не поднялся. Борб вынес вещи, и мы грустно распрощались.

За рулем сидел Борис. Ездит он быстро. Но сейчас я попросил его, если можно, ехать побыстрее.

— Что это ты? — удивился он. — У нас уйма времени.

Я сказал:

— Посидим полчасика где-нибудь в Кельне.

Мелем... Бад-Годесберг... Бонн... Мелькали, чередуясь, яркие огни и темные, будто вымершие кварталы с задраенными, зашторенными окнами. Через сорок минут мы въехали в Кельн. Билась в судорогах огненная реклама на стенах, крышах, вышках. Как из бездонной бутылки, лилось и лилось шампанское в огромный бокал и выплескивалось, пенясь неоновыми искрами. На многоэтажном доме в диком танце дергалась световая фигура женщины, обещая все наслаждения мира. Шикарные сверкающие витрины магазинов кричали о всеобщем благоденствии. Откуда-то вырвался и нарастал, как у падающей бомбы, вой сирены. Пронеслась машина с мигающими огнями на крыше, а за нею цистерна с полицейскими на бортах, держащими наготове брандспойты. Неторопливо и деловито рылся в мусорном ящике человек в черной шляпе. Рядом, присев на задние лапы и задрав голову, терпеливо смотрела на него собака...

А над городом, упираясь в небо, величественно и непоколебимо высились исполинские громады Кельнского собора, словно утверждая вечность и незыблемость этого мира.

Будь проклят этот мир!

* *
*

Так закончилась моя первая поездка в Западную Германию. Недавно я снова побывал там. После всего, что знал, останавливаться в отеле фрау Хильды Марии Шредер не мог. Но очень хотелось повидать Борба.

И вот хорошо знакомый мне парк, и дом с мансардой, и затянутый зеленью флигель с опущенными шторами. Все было, как и прежде. Только не было Борба. Вместо него к машине бросался какой-то здоровенный парень.

— Не знаю, — грубо ответил он на мой вопрос о Борбе. — Интересно, зачем вам понадобился этот тип?

Что стало с Эрикой, с остальными обитателями отеля? Так ничего и не узнав, вернулся в Москву.

В Союзе писателей меня ждало письмо, пришедшее на мое имя. Это было письмо от Борба. Радостное, восторженное письмо. Ему, наконец, удалось осуществить свой давний план — уйти в ГДР. Как и надеялся, получил работу по специальности. «Что касается вашей просьбы, — пишет он, — то теперь возражений у меня нет. Надеюсь, вы не обижаетесь, что не сказал вам тогда о своих планах. Я человек суеверный и всего боялся».

Он разрешил мне опубликовать все, что найду нужным, но все-таки просил фамилии изменить. И еще одно условие поставил: не сообщать, откуда ему стали известны некоторые факты.

Я точно выполнил все пожелания Борба.

1970 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Сахнин Аркадий Яковлевич

ОДИНОЧЕСТВО

Редактор *Огородникова Н. Н.*
Худ. редактор *Конюхов В. П.*
Художник *Огурцов И.*
Техн. редактор *Красавина А. М.*
Корректор *Панчулазова С.*

А13079. Сдано в набор 7/VI-1971 г. Подписано к печати 11/X-1971 г. Формат бумаги 60×84/16. Бумага типографская № 1. Бум. л. 4,0. Печ. л. 8,0. Условн. печ. л. 7,44. Уч.-изд. л. 7,88. Тираж 100 000 экз. Издательство «Знание». Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4. Заказ 6537.

Отпечатано с матриц типографии Всесоюзного общества «Знание» в областной типографии управления издательств, полиграфии и книжной торговли Ивановского облисполкома, г. Иваново-8, ул. Типографская, 6.

Цена 25 коп.

25 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
Москва 1972